АРИАДНА ШИЛЯЕВА

БОРИС ЗАЙЦЕВ

И ЕГО

БЕЛЛЕТРИЗОВАННЫЕ БИОГРАФИИ

Издание русского книжного дела
"ВОЛГА"
New York, N. Y., U.S.A.
1971

АРИАДНА ШИЛЯЕВА

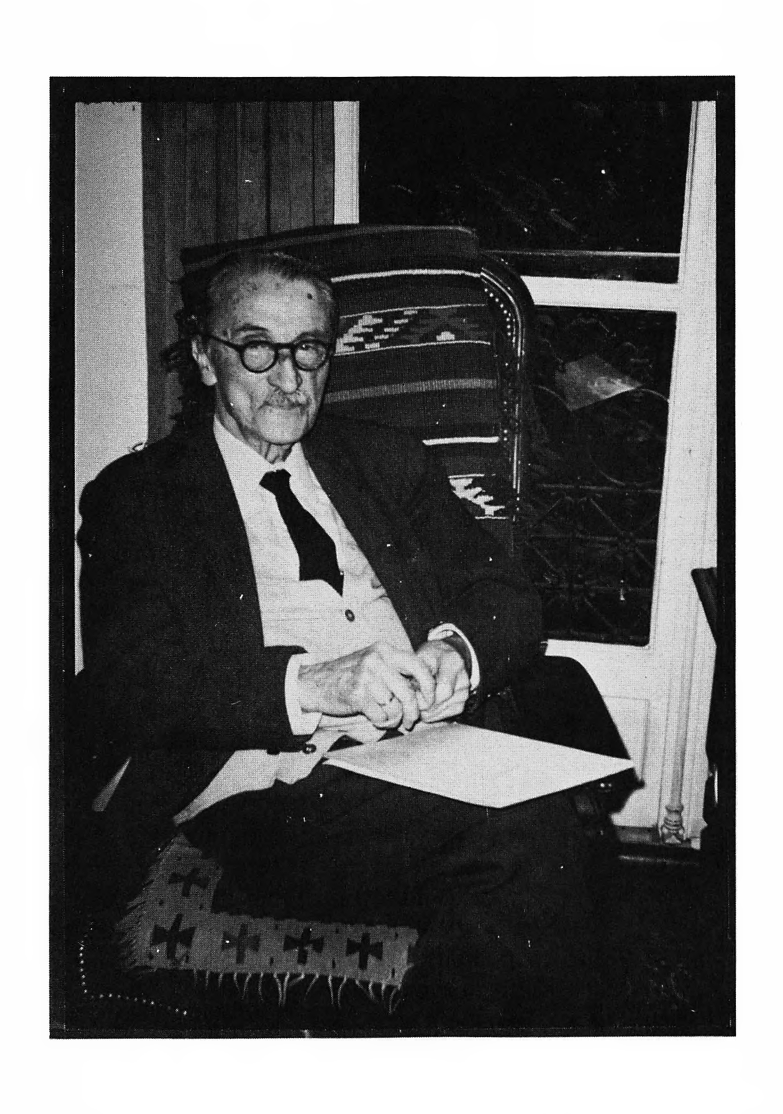
БОРИС ЗАЙЦЕВ
И ЕГО
БЕЛЛЕТРИЗОВАННЫЕ БИОГРАФИИ

Издание русского книжного дела
"ВОЛГА"
New York, N. Y., U.S.A.
1971

ARIADNE SHILAEFF, PH. D.

Boris Zaitsev
and
His Fictionalized Biographies

Publisher
"V O L G A"
New York, N.Y., U.S.A.



БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Париж
12 августа 1968 г.

Фото
Е.П. Шиляева

К КНИГЕ АРИАДНЫ ШИЛЯЕВОЙ

Темы о творчестве Бориса Зайцева надо приветствовать a priori: литературоведы в долгу перед этим, старейшим из здравствующих по сей день, мастером русского творческого слова.

Ариадна Шиляева к тому же выбрала для исследования труднейшее, может быть, из им написанного: три беллетризованных биографии – жанр мало изученный и зыбкий по структурным своим очертаниям.

Из зыбкости жанра выросла задача его дефиниции как подступа к главному предмету разбора, и в книге дается перечень-характеристика типов творческих биографий от Л. Стрейчи до романистов русской послеоктябрьской литературы.

Главный же предмет разбора – поэтика Зайцева-биографа – раскрыт с завидной, по-моему, тщательностью: читателю книги становится видимой и ощутимой та особая манера творческого выражения суждения ли, впечатления ли, которую мы называем импрессионистской и расплывчатость которой иной раз едва поддается определению при отсутствии расставленных исследователем акцентов.

Подчеркнута "разновеликость" этой манеры в зависимости от самого выбора героя-темы: она проникновенна в экспозиции образа Жуковского ("Может быть, потому именно Жуковский особенно привлекал Б. К. Зайцева, – пишет А. Шиляева, – что в облике поэта он увидел черты, близкие ему самому"); она сдержана и уступает документальности в книге о Чехове.

Интересны сделанные А. Шиляевой непосредственные и сопоставительные наблюдения над стилем и языком трех биографий; интересен и сам подход к раскрытию их творческих примет и особенностей.

Книга ее поэтому будет ценна не только для читателей, интересующихся творениями Б. К. Зайцева, но и для тех, кого занимают общие вопросы и практические проблемы литературоведческого анализа.

Л. Ржевский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЖАНР ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ И ЕГО ИСТОРИЯ

> Facts, relating to the past, if they are collected without art, are compilations, and compilations, no doubt, may be useful, but they are no more History than butter, eggs, salt and herbs are omelette.
>
> Lytton Strachey

Отцом современной творческой биографии, к которой относятся "Жизнь Тургенева", "Жуковский" и "Чехов" Бориса Зайцева, обычно считают английского писателя Литтона Стрейчи (1880-1923), выпустившего в мае 1913 года книгу под заглавием "Знаменитые викторианцы", а в 1921 году – книгу "Королева Виктория".

В книгу "Знаменитые викторианцы" вошли биографии четырех выдающихся личностей эпохи королевы Виктории, эпохи экономического, военного и культурного расцвета Англии: кардинала Маннинга, Флоренс Найтингэйл, доктора Томаса Арнольда и генерала Чарльза Гордона. Уже в самом названии книги таилась некоторая ирония и вызов сложившемуся легендарному представлению о викторианцах как о необыкновенных, непогрешимых людях. Литтон Стрейчи разрушил эту легенду и, вместо позолоченных изваяний, создал образы живых людей со свойственными им достоинствами и недостатками.

В предисловии к "Знаменитым викторианцам", ставшем своего рода манифестом для многих современных писателей – мастеров жанра творческой биографии, – Литтон Стрейчи дает уничтожающую характеристику традиционной, обычно двухтомной, биографии эпохи викторианства. Он пишет:

> Эти два объемистых тома, которыми у нас уже вошло в привычку отмечать память умерших, – кто их не знает,

с их плохо обработанным материалом, небрежным стилем, прискорбным недостатком выбора, объективности и композиции. Написанные в тоне скучного панегирика, они стали так же знакомы, как погребальный кортеж, и окутаны той же атмосферой медлительности и примитивности похорон. Так и хочется подумать о некоторых из таких биографий, что они составлены тем же похоронным бюро, как заключительный штрих его работы.[1]

Такого рода биографии Литтон Стрейчи назвал "стандартными биографиями". Резко осуждая "стандартные биографии", Стрейчи, однако, использовал для своих работ богатый фактический материал, который он в них находил. В том же предисловии к "Знаменитым викторианцам" Стрейчи отмечает, что эти двухтомные биографии не только снабжали его нужным материалом, но также служили ему в его работе негативным примером: традиционному панегирику он противопоставил свободу собственного суждения и беспристрастность, а растянутости и многословию – краткость –

. . . краткость, которая исключает все лишнее и не упускает ничего значительного – вот, без сомнения, первейшая обязанность биографа. Вторая, и не менее существенная – это сохранить свою творческую свободу. Лестные отзывы – не дело биографа; его дело – изложить голые факты так, как он их понимает. Вот к чему я стремился, когда писал эту книгу: изложить неприкрашенными факты и события, к а к я и х п о н и м а ю (разрядка моя, – А.Ш.), спокойно, беспристрастно, без скрытых намерений.[2]

Однако, Литтон Стрейчи не был просто бесстрастным рассказчиком. Он был писателем, широко пользовавшимся некоторыми художественными приемами романиста: деталью в создании внешнего и психологического портрета своих героев, художественными образами. Положительную оценку новаторству Литтона Стрейчи в жанре биографии дает известный французский писатель Андре Моруа:

Прочтите страницу викторианской биографии и затем – страницу г-на Стрейчи, и вы сразу же увидите, что

---

1 Lytton Strachey, "Preface," *Eminent Victorians* (New York: Harcourt, Brace and Company), VI – VII (перевод мой, – А.Ш.).

2 Там же, стр. VII (перевод мой, – А.Ш.).

перед вами два различных типа биографии. Книга Тревельяна или Локхарта, как бы безупречно составлена она ни была, – это прежде всего документ; книга же г-на Стрейчи – прежде всего произведение искусства. Без сомнения, г-н Стрейчи в то же самое время и аккуратный историк; однако, он обладает даром излагать свой материал в превосходной художественной форме, и вот эта-то художественная форма и является для него высшей сущностью.

. . . .

Он не критикует и не судит, он описывает . . . . Автор никогда сам не появляется. Он прячется за королевой, за кардиналом Маннингом, за генералом Гордоном; с добросовестной точностью он воспроизводит их жесты и особенности их речи – и этим достигает превосходного комического эффекта.[3]

В более же поздних своих работах о жанре романизованной биографии[4] Моруа отмечает, что Стрейчи часто приносил в жертву юмору и желанию блеснуть эпиграммой ту самую объективность и беспристрастность, которые в предисловии к "Знаменитым викторианцам" он объявил краеугольным камнем биографии нового типа. Жонглируя фактическим материалом, Стрейчи, по словам Андре Моруа, искажал действительные образы своих героев. "Факты в руках Литтона Стрейчи, – говорит Моруа, – "становятся смертоноснейшим орудием. Вы помните, как он обошелся с дневником епископа Маннинга, или с письмами королевы Виктории: цитаты и только цитаты, но так предательски подобранные, что после их прочтения ничего не оставалось ни от добросовестности епископа, ни от здравомыслия королевы."[5] И далее Моруа добавляет, что биограф вообще ни в коем случае не должен позволять своим предубеждениям и чувству юмора влиять на подбор и организацию фактического материала.

---

[3] André Maurois, *Aspects of Biography*, trans. from French by S.C. Roberts (Cambridge: The University Press, 1929), pp. 7-8, 17 (перевод мой, – А.Ш.).

[4] André Maurois, *Prophets and Poets*, (New York & London: Harper & Bros., 1935), pp. 232-233.

André Maurois, "The Ethics of Biography," *Biography as an Art*, James L. Clifford, ed. (New York: Oxford University Press, 1962).

[5] André Maurois, "The Ethics of Biography," *Biography as an Art*, p. 171 (перевод мой, – А.Ш.).

Сам Андре Моруа (1885–1967) тоже считается одним из создателей этого нового вида биографии. В 1923 году он написал книгу "Ариель, или Жизнь Шелли". На вопрос издателя, скептически отнесшегося к рукописи "Ариеля", что это – научный труд, популярная книга, или же роман? – Моруа ответил: Biographie romancée.[6] Так родился термин "романизованная биография", или "романсированная биография", иначе –"беллетризованная биография", или, как некоторые называют, "роман-биография". Книга Моруа положила начало его всемирной славе как крупнейшего мастера этого жанра. Всего Моруа написал пятнадцать таких романизованных биографий, из которых одиннадцать посвящены писателям: "Байрон", 1930; "Тургенев", 1931 (это фактически четыре несколько расширенных и объединенных в книгу лекции Моруа о Тургеневе); "Вольтер", 1932; "Лелия, или Жизнь Жорж Санд", 1952; "Три Дюма", 1957 и др. Три биографии посвящены государственным деятелям и одна – ученому. Кроме этого, Моруа написал две книги литературных портретов английских и французских писателей – своих современников. Сюда также примыкает его теоретическая работа "Типы биографии", первоначально представлявшая собой серию лекций, прочитанных Моруа в Кембридже в 1928 году, и позднее вышедшая отдельной книгой. В ней Моруа излагает свои взгляды на новый тип биографии, т.е. на романизованную биографию, и отмечает ее характерные черты.

На основании "Типов биографии" и последующих высказываний, сделанных Моруа в разное время,[7] можно

---

[6] Кирилл Андреев. "Три Дюма и Андре Моруа – послесловие к книге Андре Моруа: Три Дюма. Перевод с французского Л. Беспаловой и С. Шлапоберской. Изд. "Молодая гвардия", М., 1962, стр. 512.

[7] Андре Моруа, Комментарии к собственной биографии. "За рубежом", № XLVI, М., 10-16 ноября 1967, стр. 31.

André Maurois, *Prophets and Poets.*

André Maurois, "The Ethics of Biography," *Biography as an Art.*

кратко суммировать требования, которые он предъявлял к романизованной биографии.

Андре Моруа считает, что биография должна преследовать не только познавательные, но и эстетические цели, и может поэтому быть художественным произведением в той же степени, что и роман. Бесспорно, – полагает он – биография должна вклкчать в себя события, свидетельства и документы, причем от биографа требуется объективность и беспристрастность в их подборе и интерпретации. Биограф "пишет историю, – говорит Моруа, – а не роман, и свидетельствует под присягой. Он даже не может сказать, что погода в такой-то день была хорошая, или плохая, если у него нет для этого должного обоснования. Он не должен ни вкладывать в уста своего героя, ни приписывать какому-либо персонажу слов, которых они не произносили.... Если в вашем распоряжении есть письмо, процитируйте его целиком, или частично; если какой-нибудь заслуживающий доверия свидетель сохранил в памяти разговор – используйте его. Но никогда не давайте воли воображению. Стóит вам перейти границу между биографией и романом, и вы никогда не сможете вернуться назад".[8]

Однако, как считает Моруа, в своей работе над такой биографией, основанной исключительно на фактических данных, писатель должен стремиться не только к документальной правде, но также к той более глубокой, высшей правде, которая претворяет его писание в художественное произведение. Эта мысль соответствует словам Юрия Тынянова: "Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не "выдумкой", а бóльшим, более близким и кровным пониманием людей и событий, бóльшим волнением о них".[9]

Писатель-биограф не может заниматься придумыванием событий и додумыванием, но он имеет абсолютное право на свое личное восприятие и толкование эпохи и отдельных личностей. У него должно быть свое видение героя, причем

[8] André Maurois, "The Ethics of Biography," *Biography as an Art*, p. 168 (перевод мой, – А.Ш.).

[9] Ю. Тынянов. Автобиография. В сборнике: Юрий Тынянов, Изд. "Молодая гвардия", М., 1968, стр. 20.

герой биографии должен быть созвучен, близок автору, для которого биография является как бы средством самовыражения. "Биография, – пишет Моруа, – будет средством самовыражения, когда избранный автором объект жизнеописания отвечает скрытым запросам его собственной натуры. В этом случае биография будет написана с бо́льшим душевным волнением, т.к. чувства и переживания героя будут чувствами и переживаниями самого биографа. Это в какой-то мере будет автобиография, только прикрытая формой биографии".[10]

Образ героя биографии воссоздается путем постепенного раскрытия его психологического облика и прослеживания роста его духовного развития. Этому, как считает Андре Моруа, обычно способствует хронологический порядок изложения событий в жизни героя. Вообще же, по словам Моруа, задача автора показать не то, что герой – обыкновенный человек, а то, как иногда обыкновенный человек может стать героем.

Моруа затрагивает также вопрос о дидактической цели биографии великих людей и приходит к выводу, что биография – без какого-либо прямого воздействия со стороны автора, обычно скрывающегося за спинами своих героев, – может заключать в себе тот или иной моральный урок.[11] На эту же тему пишет известный английский биограф Sir Harold Nicolsen:

> Отнюдь не стремясь поучать, хорошая биография поощряет людей верить в то, что человеческий разум поистине непобедим и что личность может торжествовать над самыми неблагоприятными обстоятельствами, при условии, однако, что она остается верной самой себе. Занимательные книги могут быть написаны о смешных людях; вымысел и романтика могут, как жимолость, обвивать глупейшую голову, но я глубоко убежден, что подлинная биография, если ей надлежит произвести более чем мимолетное впечатление, может быть написана только о таком человеке, которого и писатель и читатель могут глубоко уважать.[12]

---

[10] André Maurois, *Aspects of Biography*, p. 111 (перевод мой,– А.Ш.).

[11] André Maurois, "The Ethics of Biography," *Biography as an Art*, p. 174.

[12] Ibid., p. 205 (перевод мой, – А.Ш.).

Здесь уместно будет заметить, что в современную биографию великих людей перешла в какой-то мере основная черта агиографической литературы: жизнеописание святого должно быть источником вдохновения и примером, достойным подражания. "Могучая сила, оздоровляющая душу, таится в биографиях великих людей", – говорит Н. Лосский в рецензии на книгу Бориса Зайцева "Преподобный Сергий Радонежский".[13]

Интерес к биографии, как к жанру художественной литературы, был и остается довольно широким. Новаторство Литтона Стрейчи и Андре Моруа породило множество более или менее удачных последователей и подражателей. Русскому же читателю, как авторы романизованных биографий, особенно известны: австрийский писатель Стефан Цвейг ("Жозеф Фуше. Портрет политического деятеля", 1929, "Мария Стюарт", 1931 и др.); немецкий романист Томас Манн ("Лотта в Веймаре", 1939: роман о встрече в Веймаре уже престарелого Гете с Шарлоттой Кестнер – прототипом вертеровой Лотты, которую сорок один год назад полюбил он, тогда еще молодой и неизвестный поэт); Эмиль Людвиг ("Бетховен", 1943, "Гете", 1928 и др.); Лион Фейхтвангер ("Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо", 1953).

Лион Фейхтвангер известен также как автор исторических романов ("Безобразная герцогиня", 1923, трилогия "Иудейская война", 1932), но в них не следует искать абсолютной исторической правдивости, как не следует искать достоверности в его биографических романах. Судя по его же собственным заявлениям, он и не стремился к точности в воспроизведении характеров и исторической эпохи. Так, в 1935 году, на международном конгрессе писателей в защиту культуры, в Париже, Лион Фейхтвангер выступил с докладом на тему "О смысле и бессмыслице исторического романа", в котором он сказал:

> Я не представляю себе серьезного романиста, которому бы исторические темы служили для чего-нибудь

---

[13] Н. Лосский. Преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский. "Путь", №2, Париж, январь 1926, стр. 153.

иного, кроме создания известной дистанции. Он ищет в них лишь символа и по возможности точного отображения своей собственной эпохи, своих собственных, современных и субъективных взглядов.

. . . .

Я всегда старался передать как можно точнее образ своей действительности, но я никогда не интересовался тем, насколько точно я воспроизвожу исторические факты. Напротив, мне случалось сознательно изменять историческую истину, когда она ослабляла впечатление. [14]

Этот же принцип лежит в основе "документальной" правды романизованных биографий Лиона Фейхтвангера, которую он подчинил "лжи, усиливающей впечатление".[15]

Очевидно, что искусство биографии, как и всякое искусство, нельзя свести к какой-то формуле: рамки biographie romancée, установленные для этого жанра Литтоном Стрейчи и Андре Моруа, постепенно раздвинулись. Лион Фейхтвангер в своих романизованных биографиях прибегает, как он сказал, к "лжи усиливающей впечатление". Так, чтобы подчеркнуть трагическое одиночество Жан-Жака Руссо, даже в собственной семье, Фейхтвангер рисует в романе "Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо" предельно отталкивающие образы его близких. Жена Руссо Тереза наделена автором бесконечной глупостью, пошлостью и распущенностью, хитрая и недобросовестная теша третирует своего зятя-философа, а брат жены бессовестно его обворовывает. Наконец, Тереза заводит роман с пройдохой-конюхом, который убивает Жан-Жака Руссо, чтобы завладеть рукописями последнего. (Ромен Роллан, однако, в очерке "Жан-Жак Руссо" так описывает его смерть: "В четверг утром 2 июля 1778 года он скончался. Врачи нашли у него опухоль в мозгу и констатировали "апоплексический удар на почве острой уремии".)[16] Томас Манн строит свой роман о Гете "Лотта в Веймаре" почти исключительно на придуманных им диалогах и монологах (такие диа-

---

[14] Лион Фейхтвангер. О смысле и бессмыслице исторического романа. "Литературный критик", №9, сентябрь 1935, стр. 108-109.

[15] Там же, стр. 109.

[16] Ромен Роллан. Собрание сочинений в 14-ти томах, т.14. ГИХЛ, М., 1958, стр. 627.

логи и монологи составляют приблизительно пять шестых романа).

В такой именно форме, т.е. с элементами авторского домысла и вымысла, романизованная биография рождается в русской советской литературе.

"Советским Моруа"[17] и родоначальником биографического жанра в русской советской литературе называют известного литературного критика и писателя Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943).[18]

Трудно утверждать, что Андре Моруа имел на Тынянова какое-либо влияние (да подобное утверждение и не является целью настоящей работы), но можно предполагать, что Тынянов, хорошо влядея французским языком (в начале 20-х гг. он работал переводчиком в французском отделе Коминтерна), был знаком с первой романизованной биографией Андре Моруа "Ариель, или Жизнь Шелли", вышедшей в свет за два года до появления первого романа в биографическом жанре Юрия Тынянова. Возможно, что "Ариель" в какой-то мере способствовал тому, что русский литературовед и критик обратился к этому жанру.

Всего Ю.Н. Тынянов написал три книги в этом новом для русской советской литературы жанре. Первая – "Кюхля", 1925 – о лицейском товарище Пушкина, поэте-декабристе Вильгельме Кюхельбекере: вторая - "Смерть Вазир-Мухтара", 1927 – роман о тяжелых днях последнего года

---

17 Иван Тхоржевский. Русская литература. Изд. "Возрождение", Париж, 1950, стр. 614.

18 С.М. Петров. Советский исторический роман. Изд. "Советский писатель", М., 1958, стр. 27

Академия Наук СССР. История русского советского романа в двух книгах, кн. 1. Изд. "Наука", М.-Л., 1965, стр. 350.

В конце прощлого столетия, как автор ряда повестей из жизни русских писателей, стал известен В. П. Авенариус (1839-1919). Он написал: "Детские годы Пушкина", 1886; "Юность Пушкина", 1888; "Гоголь–гимназист", 1896; "Гоголь–студент", 1897. Эти биографические повести предназначались, главным образом, для юношества и преследовали скорее просветительские, чем эстетические цели. Они включали в себя больше элементов приключенчества и бытописаний, чем проникновения в душевный мир героев, и на этом основании их едва-ли можно рассматривать как полноценные художественные произведения жанра творческой биографии.

жизни и страшной смерти А.С. Грибоедова, и третья книга — "Пушкин", состоящая из трех частей. Первые две части — "Детство" и "Лицей" — впервые в книжном издании появились в 1936 году, третья — "Юность", охватывающая 1816—1820 годы жизни Пушкина, — была закончена Тыняновым незадолго до смерти, в 1943 году.

Прежде чем говорить о Тынянове, как авторе биографических романов, и о его книгах, следует отметить, что, начиная с 20-х гг. и почти до конца прошлого десятилетия, русские советские литераторы и критики энергично отвергали термин biographie romancée (так же как и его русские переводы) в применении к художественным произведениям биографического жанра в советской литературе. В критической литературе СССР романы Тынянова (и подобные им романы на биографические темы) называли и продолжают называть, как мне кажется, не совсем обоснованно историческими романами и повестями, историко-биографическими романами, романами-исследованиями и т. п. Причем историческими романами называли (а ортодоксальные советские критики продолжают называть и сейчас) биографические произведения, героями которых являются не только государственные деятели, но также и выдающиеся деятели науки, литературы и искусства. "Художественное произведение, центральным героем которого является известный деятель, становится не его биографией, а историческим романом. "Кюхля", "Радищев", "Петр Первый", "Емельян Пугачев", "Повесть о Болотникове", романы И. Новикова о Пушкине и многие другие книги — это исторические романы, широко отображающие жизнь страны в целом, а не только одного человека", — говорится в "Истории русского советского романа".[19]

Один из исследователей творчества Юрия Тынянова Б.О. Кастелянец называет его романы историко-биографическими, стараясь подчеркнуть их отличие от романизованных биографий Андре Моруа:

---

[19] Академия Наук СССР. История русского советского романа, кн. 1, стр. 351.

В то время, когда зарождался и добивался значительных успехов советский исторический роман, в буржуазной западной литературе получил большое распространение исторический роман-биография. В жанровом отношении "Кюхля" и "Смерть Вазир-Мухтара", на первый взгляд, весьма близки к этим романам-биографиям, посвященным Байрону, Шелли и многим другим литературным и государственным деятелям прошлого. Но различие идейных позиций сказывается настолько сильно в художественной форме книг советского писателя и буржуазного, что делает их произведения резко противостоящими друг другу.

В книге А. Моруа о Байроне великий английский поэт "изъят" из эпохи и ее главнейших противоречий.

. . . .

У советских исторических романистов были совсем другие цели и совсем иные средства. Они стремились не к затушеванию, а к обнаружению глубочайших противоречий и закономерностей истории.[20]

Другими словами, различие между так называемыми "историческими" (или "историко-биографическими") романами русских советских писателей и романизованными биографиями большинства западных художников в сущности сводится к различию в толковании взаимодействия героя и истории, или героя и эпохи.

Точка зрения западных художников на это взаимоотношение была кратко и ясно выражена Андре Моруа еще в 20-е годы: "Биограф берет отдельного человека, как центральную фигуру, и с него начинает и им кончает события данного периода времени; все эти события вращаются вокруг него".[21]

Для советского же писателя-романиста – "главное в том, как и почему, вследствие какого стечения обстоятельств исторический герой сумел стать органом, выразителем общества, народа, исторической необходимости".[22] Более того –

Необходимо слить изображение героя с изображением эпохи, народа, страны, тех общественных сил, которые

---

[20] Б.О. Кастелянец. Проза Тынянова. В кн.: Ю.Н. Тынянов. Сочинения в трех томах. т. 1. ГИХЛ, М.-Л., 1959, стр. XXX-XXXI.

[21] André Maurois, *Aspects of Biography*, pp. 93-94. (перевод мой, – А. Ш.).

[22] Г. Ленобль. История и литература. Изд. "Советский писатель", М., 1960, стр. 271.

позволили ему подняться как герою, в полном смысле слова историческому.[23]

Это требование – "слить изображение героя с изображением эпохи, народа, страны . . .", – предъявляемое к советским авторам биографических романов, часто приводило последних к "заколдованному кругу". Если им удавалось нарисовать широкий исторический фон и круг событий, то страдала сама биографическая тема; если же достигалась полнота биографии, то не удавалась полнота изображения эпохи. Эти трудности, встававшие перед советским романистом-биографом, вызвали даже дискуссию на тему "О биографическом жанре", развернувшуюся на страницах "Литературной газеты" в 1939-1940 гг.[24] К сожалению, дискуссия эта не разрешила проблем биографического романа, и никто из ее участников не посмел поднять голоса против требования "слить изображение героя с изображением эпохи . . .".

Но бывало и так, как мы увидим ниже, что автор биографического романа объявлял – в предисловии или в послесловии, – что цель его романа показать "сквозь образы великих художников прошлого картину старого политического быта в его наиболее трагических проявлениях",[25] и создавал полноценную романизованную биографию.

Несмотря на то, что официальное советское литературоведение до сих пор продолжает игнорировать термин biographie romancée и его русские эквиваленты, среди советских литературоведов и критиков начинают раздаваться голоса, называющие романизованные биографии их настоящим и законным именем, данным им Андре Моруа.

Вениамин Каверин в воспоминаниях об Юрии Тынянове, написанных в 1964 году, говорит: "Кюхля" – это

---

[23]Там же, стр. 272.

[24]В дискуссии приняли участие: К. Осипов. Жанр художественной биографии. "Литературная газета", 1939, 26 июня;

С. Мстиславский. За право вымысла. "Литературная газета", 1940, 5 июня;

М. Левидов. Автор и его герой. "Литературная газета", 1940, 20 июня;

Е. Лундберг. Правда или вымысел? "Литературная газета", 1940, 10 июля.

[25]Леонид Гроссман. Бархатный диктатор. Изд. "Московское товарищество писателей", М., 1933, стр. 232.

роман-биография".[26] С течением времени, видимо, меняется даже концепция взаимоотношения в романе героя и эпохи. Так в предисловии к русскому переводу (1957 г.) романа Томаса Манна "Лотта в Веймаре" советский историк литературы и критик Н.Н. Вильмонт подчеркивает:

> Ценность романа – биографии как жанра, по нашему убеждению, в том, что она не столько анализирует и обобщает (на этом поприще исследователь может и превзойти художника-беллетриста), сколько воссоздает образ героя в его неповторимой жизненности. Проникновение в душевный мир гениального человека, способность сообщать всем его словам и поступкам печать неподдельной гениальности – независимо от справедливости или несправедливости авторской концепции – вот что здесь главное.[27]

Вернемся к Юрию Тынянову и его романам: "Кюхля", "Смерть Вазир-Мухтара" и "Пушкин".

У Ю. Тынянова, как и у Андре Моруа, было, конечно, свое вúдение и героя и эпохи, причем каждый из избранных им героев какой-то стороной своего существа был ему созвучен. Детски-доверчивый Кюхля привлекал его своей чудаковатостью, каким-то дон-кихотовским стремлением к справедливости и трогательно-наивным отношением к жизни и людям. Еще сильнее "вжился" Ю. Тынянов в Грибоедова: в тыняновской манере держаться, вплоть до походки, иронизировать и порой едко шутить было столько от своего героя, что когда "Смерть Вазир-Мухтара" вышла из печати, "кто-то сказал, что это не столько роман о Грибоедове, сколько о самом Тынянове".[28] Родным и близким был ему Пушкин, на внешнее сходство Тынянова с которым, как и на некоторое соответствие в темпераменте, склонностях, интересах и складе ума, указывали Константин Федин, Н. Чуковский и И. Рахтанов.[29]

Как и Андре Моруа, Тынянов строил свои романы на основе документальных материалов, но документы служили

---

[26] Сборник: Юрий Тынянов, стр. 28.

[27] Н.Н. Вильмонт. Гете в романе Томаса Манна – предисловие к книге Томаса Манна: Лотта в Веймаре. Перевод Н. Ман. ГИХЛ, М., 1957, стр. 6.

[28] Воспоминания бывш. ученика Ю.Н. Тынянова И. Рахтанова. Сборник: Юрий Тынянов, стр. 123.

[29] Воспоминания К. Федина, Н. Чуковского и И. Рахтанова. Там же, стр. 187, 143, 121.

ему как бы отправной точкой для его творческой фантазии. Тщательное изучение материалов рождало в писателе ту уверенность в себе, когда "приходит последнее в искусстве – ощущение подлинной правды: так могло быть, так может быть, так было",[30] – говорил Тынянов.

"Там, где кончается документ, там я начинаю",[31] – продолжает Тынянов, и объясняет, почему:

> Представление о том, что вся жизнь документирована, ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек – сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну и приходится заняться его делами и договаривать за него, приходится обходиться самыми малыми документами.[32]

Такое сочетание документальных данных и элементов вымысла и домысла представляют собой все три книги Тынянова, хотя в "Кюхле" додумывания и продления документа меньше, чем в "Смерти Вазир-Мухтара" и еще меньше, чем в "Пушкине".

В текст "Кюхли" входят отрывки из записок Пушкина и самого Кюхельбекера, их стихотворения; Грибоедов (в "Кюхле") говорит цитатами из своих писем, и поэтому, может быть, "Кюхля" – особенно первые его главы – представляют собой своего рода "беллетризованный монтаж документов.[33] Следует заметить, что в 20-е годы Тынянов принимал деятельное участие в создании кинематографии в СССР, работал с известными в то время кинорежиссерами. Возможно, что принципы киномонтажа отразились на художественной манере Тынянова-писателя.[34]

---

[30] Ю. Тынянов. Автобиография. Сборник: Юрий Тынянов, стр. 20.

[31] Там же, стр. 197.

[32] Там же, стр. 197.

[33] И. Сергиевский. О биографическом романе и романе Юрия Тынянова. "Литературный критик", №4, 1937, стр. 180.

[34] Юрий Тынянов написал несколько киносценариев: "Шинель" по повести Гоголя, "Ася" по повести И.С. Тургенева и др. Он также написал работу "Об основах кино".

На "кусковую" композицию "Кюхли", как на новаторство Юрия Тынянова, указывал Борис Эйхенбаум:

> Каждый настоящий писатель (как и ученый) открывает что-то новое, неизвестное – и это важнее всего, потому что свидетельствует о новых методах мышления.
> . . . .
> Все построено на сжатых эпизодах, на кусках, на сценах, на выразительном диалоге, который сменяется то документом, то письмом, то дневником.[35]

"Смерть Вазир-Мухтара" также тщательно документирована, но это преимущественно роман психологический, с глубоким проникновением в душевный мир героя. В романе описывается только последний год жизни Грибоедова, но к его прошлому постоянно протягиваются нити путем авторских отступлений и воспоминаний героев. Большое место занимает в романе внутренний диалог, построенный на додумывании и продлении документа: Грибоедов ведет разговоры с прошлым, со своей совестью. Со страниц тыняновского романа встает образ Грибоедова – человека, разочарованного и отмеченного трагической судьбой. Может быть, поэтому роман и назван "Смерть Вазир-Мухтара", т.е. смерть полномочного министра, а не смерть Грибоедова – умного человека и талантливого писателя, оставившего нам бессмертную комедию "Горе от ума". О созданном Тыняновым образе Грибоедова Горький в письме к автору сказал: "Должно быть он таков и был. А если и не был – теперь будет".[36] Рисуя в "Смерти Вазир-Мухтара" Фаддея Булгарина, Тынянов придал ему черты одного из своих знакомых".[37]

В третьем и последнем романе этого жанра "Пушкин" Тынянов уже по-другому подходит к раскрытию образа своего героя – через его творчество. Например, в "Евгении Онегине", во вступлении к письму Татьяны, Пушкин пишет:

> Неправильный, небрежный лепет,
> Неточный выговор речей
> По-прежнему сердечный трепет
> Произведут в душе моей.[38]

---

[35] Б. Эйхенбаум. Творчество Юрия Тынянова. "Звезда", №1, 1941, стр. 130-135.

[36] Воспоминания В. Каверина. Сборник: Юрий Тынянов, стр. 43.

[37] Воспоминания Н. Степанова. Сборник: Юрий Тынянов, стр. 129.

[38] А. Пушкин. Сочинения. New York, N.Y., International University Press, стр. 130.

На основании этих строк, написанных уже зрелым поэтом, Тынянов, создавая образ юного Пушкина, говорит: "Александру нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотаньем".[39]

Исследователь творчества Тынянова мог бы привести много примеров проникновения в психологию не только самого Пушкина, но и его современников через творчество поэта. Так Тынянов приходит к гипотезе о никому неведомой и невысказанной любви Пушкина к Екатерине Андреевне Карамзиной, жене писателя Н. М. Карамзина. Следует отметить, что эту гипотезу Тынянов высказывает в романе "Пушкин" уже как факт.

Если к воссозданию образа самого Пушкина Тынянов подошел более сдержанно и осторожно, то в изображении членов семьи поэта он широко воспользовался правом романиста на вымысел. Их портреты поэтому едва ли объективны. Подчеркнуто непривлекательна la belle créole Надежда Осиповна – мать поэта: " . . . по целым дням нечесаная и немытая, и грызла ногти . . . безобразно зевала. . ." [40] и т. д. Слишком уж неумен и пошл равнодушный отец-скопидом, смешон и мелко тщеславен дядя – поэт Василий Львович Пушкин.

Однако, Леонид Гроссман в своей книге "Пушкин" (1939 г.) нарисовал более привлекательные и, возможно, более правдивые и объективные портреты членов семьи поэта. О матери Пушкина Гроссман пишет:

> Надежда Осиповна получает первоклассное, по воззрениям того времени, светское воспитание. Она овладела в совершенстве французским языком и приобрела репутацию достойной ученицы мадам де Севинье в искусстве дружеского письма. Сохранившаяся корреспонденция Надежды Осиповны действительно свидетельствует о живости и литературности ее эпистолярного стиля.[41]

Об отце же и дяде поэта Гроссман говорит:

> Стихотворное искусство очень рано стало излюбленным занятием молодых Пушкиных. Василий Львович понемногу превратился в настоящего литератора, неизменно

---

[39] Юрий Тынянов. Сочинения в трех томах, т. III, стр. 77.

[40] Там же, стр. 67-68.

[41] Леонид Гроссман. Пушкин. Изд. "Молодая Гвардия", М., 1958, стр. 24.

причастного к виднейшим изданиям и знаменитым журнальным битвам своей эпохи. Младший брат, Сергей Львович, до глубокой старости писал стихи, всю жизнь сохраняя, однако, позицию бескорыстного служителя муз, равнодушного к печати и славе. Ни один из них не проявил высоких дарований, но оба создали вокруг себя ту атмосферу тонкой словесной культуры, которая могла послужить превосходной воспитательной средой юному поэтическому гению.[42]

О степени беллетризации Тыняновым "Пушкина" свидетельствуют слова самого автора:"Эта книга не биография. Читатель напрасно стал искать бы в ней точной передачи фактов, точной хронологии, пересказа научной литературы. Это не дело романиста, а обязанность пушкиноведов. Отгадка часто заменяет в романе хронику происшествий – с той свободой, которою издавна, по старинному праву, пользуются романисты".[43]

Наряду с романами Юрия Тынянова, в советской литературе 20-30-х годов появилось множество биографических романов других советских писателей. Ввиду того, что темой настоящей работы являются биографии русских писателей – "Жизнь Тургенева", "Жуковский", "Чехов" – Бориса Зайцева, то из числа советских писателей этого жанра я здесь назову только некоторых, наиболее известных, также избравших героями своих художественных произведений писателей или поэтов.

Всех этих авторов биографических романов, включая Юрия Тынянова, объединяет бо́льшая или меньшая степень романизации или беллетризации своих произведений: об известных людях поветствуется в свете обычного романа, т.е. о великом человеке обычно рассказывается как о вымышленном герое, с реконструкцией диалогов и монологов – в форме ли раскавыченных цитат из переписки героя, или же вымышленных самим автором. Беллетризация может также идти по линии жанровых описаний и портретных зарисовок.

В конце двадцатых и в тридцатых годах большой популярностью пользовались книги В. В. Вересаева: "Пушкин в жизни" (первое издание относится к 1926 году, третье издание вышло в 1932 году), "Гоголь в жизни" (1933), "Спутники Пушкина" (1934) – дополнение к "Пушкину в жизни". Все

---

42 Там же, стр. 13-14.

43 Сборник: Юрий Тынянов, стр. 43.

три книги составлены по одному принципу: они представляют собой компиляцию документальных материалов – главным образом, писем, – расположенных в хронологическом порядке. Причем многие сведения, приводимые в этих книгах, "конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды",[44] – признает сам автор. О "Пушкине в жизни" Виктор Шкловский говорит: "Ошибка книги "Пушкин в жизни" состоит в том, что в ней не характеризованы люди, дающие отзыв о Пушкине, не проверены документы исследования. Факты вырезаны ножницами, они не объяснены рядом лежащими фактами".[45]

Это суждение Виктора Шкловского можно отнести и к "Гоголю в жизни" и к "Спутникам Пушкина".

Наравне с Юрием Тыняновым, основоположником советского биографического романа называют Ольгу Форш,[46] автора романа "Современники" (1926) о художнике Иванове и его современниках – Гоголе и Герцене, трилогии "Радищев" (1932-1939) и др.

В свое время Юрий Тынянов справедливо заметил, что не вся жизнь великого человека, героя биографического романа, документирована, есть годы без документов. Такие пробелы в жизни своих героев каждый романист-биограф заполняет по-своему. Ольга Форш заполняет неизвестные периоды в биографии своих героев вымышленными фактами. Большую роль в своих романах отводит она также вымышленным лицам. Так, в романе "Современники" параллельно жизни художника Иванова описывается судьба вымышленного героя Багрецова, причем последний вырастает в образ, заслоняющий и намеченного героя и его современников – Гоголя и Герцена. Б. О. Кастелянец пишет о "Современниках": "Книга О. Форш "Современники" (1926) построена так, что к детективному сюжету, связянному с неким Багрецовым, исторические лица – художник Иванов, Гоголь, Герцен – имеют весьма отдаленное отношение .... И здесь

---

[44] В. Вересаев. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. Изд. "Academia", М. – Л., 1932, стр. 7.

[45] В. Шкловский. Дневник. Изд. "Советский писатель", М., 1939, стр. 34.

[46] См. Академия Наук СССР. История русского советского романа в 2-х книгах, кн. 1, стр. 354.

Ю.А. Андреев. Русский советский исторический роман. Изд. Академии Наук СССР, М.–Л., 1962, стр. 9.

"романные персонажи не делают истории, а исторические деятели не превращены в персонажи романа".[47] Виктор Шкловский, на основании слов самой же Ольги Форш, рассказывает о методе ее работы:

Ольга Форш, писатель очень талантливый, как-то рассказывала мне, что в романе о Гоголе она пользовалась промежутками в документации, вставляя предполагаемый биографический факт там, где не был известен реальный биографический факт.[48]

Не удалось Ольге Форш воссоздать и образ Радищева, героя ее одноименной трилогии. Хотя образ этот довольно аккуратно вырисован автором, он не живет, не убеждает и не привлекает. Более удачны "отрицательные" образы – это Екатерина Великая и Потемкин. У Ольги Форш "не получился роман о Радищеве, но получился роман об исторической эпохе", – верно отмечает Ю. А. Андреев.[49] И действительно, герой романа Радищев не является в трилогии центром авторского внимания. Если в первой книге трилогии и рассказывается о Радищеве – о его жизни и ученье за границей, – то во второй – повествуется, главным образом, о пугачевском восстании, третья же книга представляет собой как бы вывод: либеральные идеи Запада и русская крепостная действительность второй половины ХУШ века легли в основу возникновения и создания Радищевым "Путешествия из Петербурга в Москву".

Если Ольге Форш не удалось достигнуть сочетания биографической правды с романическим вымыслом, то известный советский литературовед и писатель Леонид Гроссман нашел "точную линию пересечения двух основных элементов исторического романа – Dichtung und Wahrheit"[50] в своем романе о последних днях Пушкина "Записки д´Аршиака. Петербургская хроника 1836 года" (1930). Это первая книга задуманной и осуществленной Л. Гроссманом трилогии "Поэт и время." Молодой французский дипломат –

---

47 Б.О. Кастелянец. Проза Тынянова. В кн.: Юрий Тынянов. Сочинения в трех томах, т. 1. стр. ХУ1.

48 В. Шкловский. Дневник, стр. 55.

49 Ю. А. Андреев. Русский советский исторический роман, стр. 152.

50 Леонид Гроссман. Записки д´Аршиака. Петербургская хроника 1836 года. Изд. "Пролетарий", Харьков, 1930, стр. 10.

виконт д'Аршиак действительно существовал и принимал участие, как секундант, в поединке поэта с Дантесом 27 января 1837 года на Черной Речке, но записок не оставил. На основе мемуаров, переписки, газетных сообщений того времени Леонид Гроссман талантливо описывает "трагический эпилог жизни Пушкина"[51] так, как он мог бы быть описанным, если бы д'Аршиак вел дневник и оставил бы нам свои записи. Со страниц "Записок д'Аршиака" встает обаятельный образ "первого русского поэта":

Пушкин с достоинством нес свое народное звание первого русского поэта, дорожа и гордясь им.

. . . .

Я любил следить за ним во время этих бесед. Мягкие белоснежные воротнички его сорочки контрастно выделяли темнеющее руно его шатобриановских бакенбард, еле прорезанных первыми серебряными нитями. Черный атлас широкого шейного банта, повязанного à la Байрон, блестел изломами пышных складок, ниспадая на белый батист его жабо, замкнутый высокими отворотами сюртука.

Перед гаснущим камином и оплывающими свечами он иногда, словно в изнеможении, опрокидывался на спинку глубокого кресла, свешивая с подлокотни свою узкую руку, еле сжимающую удлиненными пальцами душистый окурок догорающей сигары. Струящийся узенький дымок словно обрамлял своей колыхающейся синей тесьмою кудрявую голову поэта в беспрерывном блистанье и тревоге охватывающих его видений...[52]

Вторая книга трилогии – повесть об "игорном периоде" Достоевского "Рулетенбург. Повесть о Достоевском" (1932). Заглавие "Рулетенбург" принадлежит самому Достоевскому – так был первоначально назван "Игрок". В центре повести Л. Гроссмана – страсть Достоевского к рулетке, поэтому важнейшие события повести происходят в игорном доме в Висбадене. По замыслу автора, сам Достоевский является как-бы прообразом Раскольникова, героя тогда еще не написанного романа "Преступление и наказание"; его окружают прототипы персонажей из этого же будущего романа: спившийся старик-чиновник, добросердечная проститутка и др. С ними, однако, как и с "игорным периодом" в жизни Достоевского, можно, без посредства повести Л. Гроссмана, лучше познакомиться, прочитав "Игрока" и "Преступление и наказание".

---

51 Там же, стр. 5.

52 Там же, стр. 147, 149-150.

В 1933 году вышла третья книга трилогии Леонида Гроссмана – "Бархатный диктатор". Это роман о Гаршине, жизнь, безумие и самоубийство которого показаны на фоне русской действительности 80-х годов, когда "бархатный диктатор" Лорис-Меликов мягко и гибко проводил самодержавную политику страны.

Леонид Гроссман не отказывается от введения в свои романы вымышленных лиц – парижский друг д'Аршиака сенсимонист Жюль Дюверье, "девушка с Невского" в "Рулетенбурге", психиатр в "Бархатном диктаторе", но последние не заслоняют главных героев романов, подлинных исторических лиц, и не влияют на основное течение повествования. Хотя целью трилогии, по словам ее автора, и было показать "пункты пересечения писательской биографии с темой самодержавной власти, столь склонной преображать летопись жизни художника в историческую трагедию", [53] тем не менее образы Пушкина, Достоевского и Гаршина остаются в центре авторского внимания, а их жизнь является ведущей темой повествования.

В одном ряду с лучшими художественными произведениями биографического жанра стоит книга Михаила Булгакова "Жизнь господина де Мольера" (1932-1933). Пользуясь приемами драмы, Булгаков, который и сам был драматургом, воссоздает образ актера и драматурга ХУП века – создателя жанра так называемой высокой комедии – Жана Батиста Поклена-Мольера. "Книга о Мольере состоит из цепочки небольших, энергичных сцен, производящих в своей совокупности впечатление яркого театрального зрелища. Автор выводит одного за другим действующих лиц на аван-сцену, знакомит с ними, как бы заставляя их по-старинному – в одной руке трость, в другой шляпа с плюмажем – раскланяться перед публикой, и лишь после этого начинает действие." [54]

Следует также отметить у Булгакова новый для этого жанра прием, встречающийся лишь у немногих авторов биографических романов. Это прием "оживления" образа героя и его окружения путем непосредственного выявления своего повествовательного "я". Кстати, этот же прием является

---

53 Леонид Гроссман. Бархатный диктатор, стр. 234.

54 В. Лакшин. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. В кн.: Михаил Булгаков. Избранная проза. Изд. "Художественная литература", М., 1966, стр. 32.

характерной особенностью поэтики Бориса Зайцева-биографа. Однако, едва ли можно говорить о каком-либо влиянии или заимствовании с одной или с другой стороны, т.к. книга Булгакова и первая книга Зайцева в биографическом жанре "Жизнь Тургенева" были написаны почти одновременно: "Жизнь Тургенева" в 1929-1931 гг., а "Жизнь господина де Мольера" в 1932-1933 гг.

Вот как Булгаков рисует портрет мачехи маленького Жана-Батиста:

> Что можно сказать об этой женщине? По-моему, ничего – ни дурного и ни хорошего. Но потому, что она вошла в семью с кличкой мачехи, многие из тех, кто интересовался жизнью моего героя, стали утверждать, что Жану-Батисту малому плохо жилось при Екатерине Флеретт, что она была злой мачехой и что именно ее, под именем Белины, вероломной жены, Мольер изобразил в комедии "Мнимый больной".
>
> По-моему, все это неверно. . . .[55]

Пользуется также известностью роман И.Л. Новикова "Пушкин в изгнании" (1924-1953), состоящий из двух частей – "Пушкин на юге" и "Пушкин в Михайловском", – из которых каждая может рассматриваться как отдельный роман. В статье "Как я работал над романом "Пушкин в Михайловском" Иван Новиков говорит, что создание такого романа – "задача большой трудности, ибо необходимо, будучи верным действительности и обходясь без вымышленных лиц и положений, дать цельное произведение со своим самостоятельным развитием и внутренней закономерностью".[56]

Виктор Шкловский считает, что в этом романе Ивана Новикова о Пушкине "неплохо сведены анекдотические сведения о пушкинских поездках. В этом романе есть и новиковское отношение к природе, новиковская любовь к ней, и это лучшее в романе".[57] Мне кажется, однако, что лучшим в романе является не только "новиковское отношение к природе, новиковская любовь к ней". Ивану Новикову удалось передать колорит и дух времени, в книге же "Пушкин на юге" удалось (хотя и не без некоторой, понятной в советских условиях, тенденциозности) нарисовать картину быта и нравов южно-русских городов того времени. Главное же то,

---

[55] Михаил Булгаков. Избранная проза, стр. 358.

[56] Иван Новиков. Как я работал над романом "Пушкин в Михайловском". "Литературная газета", февраль 1937, стр. 5.

[57] В. Шкловский. Дневник, стр. 54.

что Новикову в обеих книгах удалось, "обходясь без вымышленных лиц и положений", воссоздать образ горячего, порывистого, полного жизни и творческого горения Пушкина.

Следует также отметить роман Анатолия Виноградова "Три цвета времени" (1931), в котором автор стремится к воссозданию образа Бейля-Стендаля, человека неиссякаемой энергии и талантливого, но не понятого современниками французского писателя.[58] Хотя книга эта посвящена нерусскому писателю, о ней все-таки следует сказать здесь хотя бы несколько слов, т. к., несмотря на отрицательную критику в 30-х годах, она выдержала испытание временем: книга эта до сих пор вызывает интерес в критике и пользуется успехом у читателей.[59]

Автор начинает повествование с середины жизни Стендаля, когда, после Бородинского сражения, двадцатидевятилетний военный комиссар Анри Бейль, прикомандированный к свите наполеоновского маршала Дарю (своего двоюродного брата), подошел к Москве. Яркая биография Стендаля развертывается на фоне важнейших событий первой половины XIX века: русский поход Наполеона, организация Священного Союза, революция в Италии и Испании, восстание декабристов в России, Июльская революция во Франции и т.д. Следуя за Бейлем, читатель попадает во Францию, Англию,

---

58 Хорошо известны также биографические романы Анатолия Виноградова: "Осуждение Паганини" (1936), "Повесть о братьях Тургеневых" (1932), "Черный консул" (1933).

59 См. Ю. А. Андреев. Русский советский исторический роман, стр. 82.

Э. Бабаян. Анатолий Виноградов и его книги. В кн.: Анатолий Виноградов. Избранные произведения в трех томах, т. 1. ГИХЛ., М., 1960, стр. 25.

Б. Реизов. Домысел и вымысел. "Литературная газета", 1939, 5 июня.

Статья Б. Реизова "Домысел и вымысел" является критическим отзывом на книгу Анатолия Виноградова "Стендаль и его время" (1938). Реизов пишет, что нашел в ней около 300 фактических ошибок, свидетельствующих или о "необычайной неосведомленности или изобретательности автора". Если в книге "Стендаль и его время", являющийся биографией Стендаля, около 300 фактических ошибок, то можно не без основания предполагать, что в романе "Три цвета времени", написанном Виноградовым за семь лет до собственно биографии Стендаля, таких ошибок не меньше, если не больше.

Милан, Рим, Неаполь, Турин, Венецию, на Корсику. Наряду с реконструированными диалогами и монологами в тексте книги много также и как бы необработанного автором документального материала. Это цитаты, главным образом, из писем и дневниковых записей, что в какой-то мере приближает роман о Стендале к литературному монтажу. Широкое освещение политических событий эпохи и обильная цитация фактического материала производят впечатление достоверности описываемого. Тем не менее, Анатолия Виноградова неоднократно упрекали в искажении фактов, в допущении смысловых проиворечий и просто в неоправданной небрежности.[60] Однако, книга "Три цвета времени" написана ярко и увлекательно. Образ Анри Бейля-Фредерика Стендаля показан – на протяжении его пестрой, богатой событиями жизни – со всеми противоречиями его сложной натуры.

В 30-е годы появились биографические романы, отличавшиеся тяготением к сугубой фактографичности – к изображению отдельных фактов и перечислению событий без попытки обобщения ситуаций и характеров. Такого рода биографические романы в советском литературоведении известны как романы - исследования. Теоретиком и практиком такого романа был Виктор Шкловский. Его перу принадлежат несколько "романов-исследований": "Русские в начале ХУШ века", "Краткая, но достоверная повесть о дворянине Болотове" и др. Типичным же примером такого романа может служить книга Георгия Шторма "Труды и дни Михаила Ломоносова. Обозрение в 9 главах и 6 иллюстрациях" (1934). Книга представляет собой серию отдельных эпизодов, сведенных в главы. Чтобы несколько оживить повествование, автор вводит в него новеллы-анекдоты–"иллюстрации", – которые с действием романа не связаны, но, по замыслу автора, должны лишь как-то акцентировать это действие, служить своего рода комментариями к описываемой эпохе. На деле же эти новеллы-"иллюстрации" задерживают развитие основного сюжета романа и мешают воссозданию живого образа героя биографического романа. Язык этих "иллюстраций" предельно стилизован: много архаизмов, областных слов и оборотов речи, немецких слов

60 Э. Бабаян. Анатолий Виноградов и его книги. В кн.: Анатолий Виноградов. Избранные произведения в трех томах, т. 1, стр. 25.

(от-авторская же речь – современный русский язык). Возможно, что в таком стремлении создания языкового колорита эпохи сказалось влияние орнаментальной прозы, получившей широкое развитие в литературе 20-х годов.

Говоря о жанре творческой биографии, нельзя не упомянуть тех биографий, которые преследуют не столько эстетические, сколько популярно-познавательные цели. Начиная с 30-х годов (отдельные биографии появились даже раньше), в серии "Жизнь замечательных людей", как и в других изданиях, выходит множество биографий русских и иностранных писателей, художников, композиторов, ученых и политических деятелей. Из этих многочисленных биографий я назову здесь книги известных литературоведов, критиков и писателей: Виктора Шкловского – "Лев Толстой" (1936),[61] и Леонида Гроссмана – "Пушкин" (1-ое изд. – 1939 г., второе – 1958 г.),"Достоевский" (1962), "Н.С. Лесков. Жизнь – Творчество – Поэтика" (1945), "Преступление Сухово-Кобылина" (1926). [62]

Перу Н. Богословского принадлежат книги: "Николай Гаврилович Чернышевский" (1955), в которой усиленно подчеркивается, что Чернышевский был революционным демократом-борцом против деспотизма, сумевшим "стать органом, выразителем общества, народа, исторической необходимости";[63] "Тургенев" (1-ое изд. - 1959 г., второе - 1961 г.

[61] В 1967 году вышел английский перевод биографии Льва Толстого, написанной французским писателем русского происхождения Анри Труайя (Тарасовым). Может быть, одним из лучших отзывов на эту книгу могут служить слова Андре Моруа: "Troyat has written exactly what I should have liked to write" (Back jacket-flap, Henry Troyat, *Tolstoy*, translated from the French by Nancy Amphoux, New York: Doubleday & Co., Inc., 1967).

[62] Во втором томе историко-биографического альманаха серии ЖЗЛ "Прометей" за 1967 год, в отделе "Литературное наследство", было напечатано короткое (всего 69 печатных страниц) исследование Леонида Гроссмана, примыкающее к творческим биографиям, – "Роман Нины Заречной". В нем рассказывается о любви Лики Мизиновой к Чехову и его к ней дружеском расположении и и об отражении этой любви-дружбы в творчестве Чехова. О последних днях жизни Л. С. Мизиновой-Саниной и ее смерти в одной из парижских больниц Леонид Гроссман рассказывает цитатой из книги Бориса Зайцева "Чехов".

[63] Г. Ленобль. История и литература, стр. 271.

и третье – 1964 г.) – также с заметным социально-политическим уклоном.

Известны биографии Анатолия Виноградова "Байрон" (1936)[64] и "Стендаль и его время".(1938). В последней, как уже здесь упоминалось, было замечено около 300 фактических ошибок.

Из числа просмотренных мною биографий, вышедших в серии "Жизнь замечательных людей", выгодно выделяется книга Кирилла Андреева "Три жизни Жюля Верна". Написана она не только со знанием фантастической литературы и материалов биографии Жюля Верна, но также и с любовью к нему и с искренним воодушевлением.

Для таких биографий, преследующих познавательные цели, характерны: предельная документальность, обильная цитация переписки, дневников, мемуаров и произведений героя (если он был писателем или поэтом), монологическая форма повествования и определенная композиционная схема. Обычно первая глава такой биографии посвящена детству героя (иногда приводится его родословная), затем идут главы, посвященные юности, ученическим и студенческим годам, первым шагам на литературном пути и так далее вплоть до смерти героя. Иногда следует заключительная глава о значении деятельности того или иного героя и его влиянии на будущие поколения. Каждая такая биография обычно сопровождается приведенным в конце перечнем основных дат жизни и творчества и библиографии материалов, на основе которых написано то или иное жизнеописание.

64 Если сравнить "Байрона" Андре Моруа с "Байроном" Анатолия Виноградова, то пред нами встанут два различных образа английского поэта, хотя обе книги написаны на основании фактических материалов биографии Байрона. Манипулируя цитатами, Анатолий Виноградов акцентирует политическую деятельность Байрона, факты же интимной жизни поэта Виноградов или замалчивает, или подтушевывает под некоторое благообразие. Так, на основании фактических материалов, Андре Моруа освещает близкие отношения Байрона с его сводной сестрой Августой Байрон, по мужу – Ли (у Августы Ли была от Байрона дочь Медора). Виноградов же пишет об этих отношениях: "Обычно выставляется как главная причина дезорганизации семейных отношений Байрона сводная сестра, Августа Ли. Байрон будто бы любил ее больше, чем то дозволено родственными связями, и она будто бы отвечала на это нездоровое чувство. Так по краймере говорит последующая молва" (Анатолий Виноградов. Избранные произведения в трех томах, т. Ш, стр. 433).

Стремление к фактичности и достоверности в таких биографиях приводит к новому разрешению проблемы неизвестных, недокументированных периодов жизни героя. Автор или откровенно признается в своем неведении и неизвестное оставляет неизвестным, или прибегает к помощи гипотез и предположений. Однако, последние не утверждаются как факт и не заменяются вымыслом и тыняновским "продлением документа", а открыто высказываются. Так Кирилл Андреев, не имея сведений о детстве Жюля Верна, пишет:

> Дошедшие до нас сведения об этом периоде жизни писателя скудны и в значительной степени легендарны. Мастерил ли он из щепок и лоскутков крохотные кораблики, чтоб бежать за ними вместе с Полем, пока их не увлечет течение Луары? Вероятно. Но так, без сомнения, поступали все нантские мальчики, хотя только один из них стал Жюлем Верном . . . Ловил ли он рыбу, сидя на каменном парапете и болтая ногами? Возможно. . . . [65]

В таких биографиях популярно-познавательного типа минимум беллетризации. Диалоги и монологи почти отсутствуют, а если и реконструированы, то очень скупо –обычно в форме цитат (иногда раскавыченных) из переписки, дневниковых записей, мемуаров и других документов.

Беллетризация может также выражаться в жанровых зарисовках. Виктор Шкловский в биографии "Лев Толстой" так описывает башкирские степи, куда весной 1862 года приехал Л.Н. Толстой пить кумыс: "Стоял ковыль, цвел дикий персик, цвела полевая акация, потом зацветала клубника – это уже было к лету. Потом поспевала полевая вишня. Весной она (степь, – А.Ш.) белела озерками, над которыми гудели озабоченные стада пчел, никогда не толкающих друг друга. Золото пчел садилось на розовое серебро вишен, а к лету вишневые садки дикой вишни темнели; ковыль становился лилово-сизым."[66]

Наконец, живой, выразительный язык некоторых из этих биографий (например, биографии Леонида Гроссмана, Виктора Шкловского, Кирилла Андреева) роднит их с художественной прозой.

---

[65] Кирилл Андреев. Три жизни Жюля Верна. Изд. "Молодая гвардия," М., 1960, стр. 16.

[66] В. Шкловский. Лев Толстой. Изд. "Молодая гвардия", М., 1963, стр. 321.

Если взять за критерий с одной стороны – документальность авторского сообщения, а с другой – коэффициент творческого домысла и творческой интерпретации биографической темы, то вышеназванные произведения – начиная с книг Юрия Тынянова и кончая биографиями научно-популярного типа, – как типичные для жанра творческой биографии, можно систематизировать следующим образом.

Книги В.В. Вересаева – "Пушкин в жизни", " Спутники Пушкина", "Гоголь в жизни",– представляют собой чистейшую компиляцию документальных материалов без какой-либо творческой их интерпретации. Поэтому они, вообше, исключаются из числа творческих биографий.

По высокой степени документальности и при низком коэффициенте творческого домысла произведения такого типа, как биографии Леонида Гроссмана "Пушкин", "Достоевский", "Н.С. Лесков", "Преступление Сухово-Кобылина", Виктора Шкловского – "Лев Толстой", Н. Богословского – "Николай Гаврилович Чернышевский", "Тургенев", Анатолия Виноградова – "Байрон", "Стендаль и его время" (несмотря на фактические ошибки), Кирилла Андреева – "Три жизни Жюля Верна" можно назвать беллетризованными биографиями популярно-учебного характера.

Биографии типа книги Георгия Шторм "Труды и дни Михаила Ломоносова", в которых творческое участие автора выражается лишь в сведении отдельных фактов и событий в главы и в соединении последних "иллюстрациями", я назвала бы биография-монтаж.

Книги Юрия Тынянова ("Кюхля", "Смерть Вазир Мухтара", "Пушкин"), Леонида Гроссмана ("Записки д'Аршиака, "Рулетенбург", "Бархатный диктатор"), Михаила Булгакова ("Жизнь господина де Мольера"), Ивана Новикова ("Пушкин в изгнании") и Анатолия Виноградова ("Три цвета времени") отличаются высоким коэффициентом авторского домысла (а в некоторых случаях, как мы уже знаем, даже и вымысла). Это прежде всего романы, в основу которых положены биографии известных людей. Поэтому их можно назвать романы-биографии.

В романах Ольги Форш, как уже говорилось выше, при высоком коэффициенте авторского домысла и вымысла, изображение исторического фона заслоняет основную биографическую тему. На этом основании романы Ольги Форш –

"Современники" и "Радищев" – можно назвать историко-биографическими романами.

На особом месте в жанре творческой биографии стоят три книги о русских художниках слова – "Жизнь Тургенева" (1929–1931), "Жуковский" (1951) и "Чехов. Литературная биография" (1954), – написанные одним из лучших представителей зарубежной русской литературы – Борисом Константиновичем Зайцевым.

Подзаголовок "литературная" в заглавии третьей книги, как бы указывая на авторское определение жанра произведения, может, однако, ввести в заблуждение. Так, Георгий Мейер в критической статье на книгу "Чехов" пишет:

> Повидимому, словом "литературная" автор справедливо хотел подчеркнуть, что его труд, взыскательный и строгий, ничего общего не имеет с бывшими еще так недавно в моде романсированными биографиями, произвольно искажавшими правду о человеке и художнике.[67]

Между тем, при личном свидании и в беседе с Б.К. Зайцевым я выяснила, что этот подзаголовок был сделан издательством имени Чехова без ведома автора. Узнал Б.К. Зайцев об этом своевольном издательском добавлении к его первоначальному заглавию книги "Чехов" слишком поздно, когда получил уже отпечатанный экземпляр своего труда. "Мне неприятно было это. Ну, уж поздно было: я получил книгу, напечатанную уже, т.е. подзаголовок был уже напечатан. Какое-то странное название – "литературная биография" – как-будто нелитературная может быть, вообще – безграмотная", – сказал Б.К. Зайцев.[68]

На вопрос, как же он сам определяет жанр своих биографий, Б.К. Зайцев ответил: "Сам я никак не определяю жанра своих биографий. Пожалуй, более всего согласен с мнением Глеба Струве".[69] Что же говорит Глеб Струве об этих биографиях? –

> Зайцевские писательские биографии . . . – не имеют себе точных параллелей в русской литературе. Не совсем

---

[67] Георгий Мейер. Борис Зайцев о Чехове. В сб.: Сборник литературных статей (посмертное издание). Изд. "Посев", Франкфурт на Майне, 1969, стр. 307.

[68] Париж, 9 августа 1968 года – беседа с Б.К. Зайцевым, записана на магнитной ленте.

[69] Из этой же беседы.

похожи они и на модные в свое время французские "романсированные" биографии.[70]

И, конечно, недостаточно назвать их только "монографиями", как это делает Федор Степун,[71] или "поэтическими биографиями", по определению Вячеслава Завалишина,[72] т.к. это значило бы – оттенить только одну из многих особенностей этих произведений: документальную обоснованность – в первом случае и лиричность – во втором.

Проф. Л.Д. Ржевский, зарубежный литературовед, критик и сам писатель, называет биографии Бориса Зайцева беллетризованными биографиями, справедливо обособляя их от западноевропейских романизованных биографий.[73]

Биографии Б. Зайцева, действительно, отличаются от западноевропейских романизованных биографий – в особенности таких, как биографии Лиона Фейхтвангера, Эмиля Людвига, Томаса Манна, – отличаются достоверностью и правдивостью в изображении героев и их современников, наряду с художественностью формы.

По принципу документальной основы и объективной интерпретации документа (хотя далеко не все биографии советских авторов отличаются объективностью интерпретации документальных материалов), по композиционной схеме и монологической форме повествования – биографии Бориса Зайцева близки к многим беллетризованным биографиям популярно-учебного характера русской советской литературы.

По творческому же выполнению биографиям Бориса Зайцева, действительно, "нет параллелей", как сказал Глеб Струве. И прав Л.Д. Ржевский, называя их беллетризованными биографиями, что значит – художественные биографии. С этим определением можно полностью согласиться: ведь путь беллетризации есть путь художественного творчества, и беллетризованные биографии

70 Глеб Струве. Зайцев. В кн.: Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Изд. имени Чехова, Нью Йорк, 1956, стр. 266.

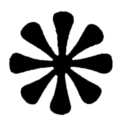
71 Федор Степун. Борису Константиновичу Зайцеву – к его восьмидесятилетию. В кн.: Федор Степун. Встречи. Товарищество Зарубежных Писателей, Мюнхен, 1962, стр. 131.

72 В. Завалишин. Борис Зайцев (К восьмидесятилетию). "Новый Журнал", № 63, Нью Йорк, 1961, стр. 144-145.

73 Л. Ржевский. Тема о непреходящем. "Мосты", №7, Мюнхен, 1961, стр. 39.

Бориса Зайцева – полноценные художественные произведения. О художнике-биографе Борисе Зайцеве и его биографиях можно сказать словами Гоголя: "Все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы".[74]

Собственная личность Бориса Зайцева, его мироощущение и внутренняя настроенность явились для него ключом к раскрытию душевного мира каждого из избранных им героев. Авторское ви́дение героев, проникнутое лично-эмоциональным к ним (особенно к Жуковскому) отношением, и стремление воплотить это ви́дение в слове – получили в этих трех биографиях интереснейшее творческое осуществление.



[74] Н.В. Гоголь. Портрет. В кн.: Н.В. Гоголь. Сочинения. Изд. International University Press, New York, N.Y. стр. 252.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Б. К. ЗАЙЦЕВА И БИОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ

На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева.

Юлий Айхенвальд

"К западу заходя в Калужскую, к северу в Московскую, области Тулы и Орла являются как бы Тосканою русской. Богатство земли, тучность и многообразие самого языка давали людей искусства. . . Тургеневы, Толстые, Достоевские порождены этими щедрыми краями".[1]

Так пишет Б. К. Зайцев в "Жизни Тургенева". В этой же колыбели величайших русских художников слова, только в самом городе Орле, родился 29 января (по старому стилю) 1881 года Борис Константинович Зайцев. В 1898 году он окончил Калужское реальное училище и поступил в Императорское Техническое училище в Москве, через год перешел в Горный Институт в Петербурге, оттуда – на юридический факультет Московского Университета, но "нигде толку не было, всюду бросал," – пишет Б. К. Зайцев в автобиографическом очерке "О себе".[2]

Отец Бориса Константиновича – горный инженер – хотел видеть сына тоже инженером, а юного Зайцева звали другие голоса, его влекла к себе литература. Однако, будуший писательский путь был ему еше не ясен. Он искал себя и не находил, порой отчаивался, но писать ему хотелось непреодолимо; он не сдавался и, наконец, наступило второе рождение – рождение Зайцева-писателя, о котором он сам вспоминает так:

> Я возвращался однажды весною в Москву из Царицына. . . . поезд помчал меня к Москве. Я стоял у окна и смотрел, в волнении и почти восторге. Поезд прогрохотал по мосту над рекой, туман расползался по лугам. Вдалеке

---

[1] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, издание второе. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1949, стр. 5.

[2] Б. К. Зайцев. О себе. "Возрождение", Париж, октябрь 1957, стр. 24.

блестела огнями Москва. Легкое зарево стояло над ней.

У этого вагонного окна я и почувствовал ритм, склад и объем того, что напишу по-новому. Нечто без конца-начала – о грохоте поезда, тумане, звездах, лугах, никак не "повесть" для журнала "Русская Мысль" – попытка бегом слов выразить впечатление ночи, поезда, одиночества.

Записал я это на другой день.[3]

Так родился "маленький бессюжетный, импрессионистическо- лирический пустячек"[4] – "В дороге", определивший раннюю полосу творчества молодого писателя. В автобиографическом очерке "О себе" Б. К. Зайцев называет это свое первое произведение "Ночь". Однако в письме от 15-го апреля 1968 года, адресованном мне, он пишет:

Называлась эта штучка "В дороге", а не "Ночь". Вспомнил я об этом тогда, когда из Москвы добрая душа прислала мне ее – вырезку из газеты "Курьер", 15-го июля 1901 г.[5]

"Он (этот "пустячек" – "В дороге", – А.Ш.) и переломил мою жизнь, – пишет дальше Борис Константинович.– Из студента Горного Института я стал литератором".

Через год, в 1902 году, появляется рассказ "Волки" (напечатан был сначала в московской газете "Курьер", затем – в сборнике "Середа"). В эти годы Б. К. Зайцев входит в кружок писателей "Среда", группировавшийся вокруг Н. Д. Телешова. Здесь бывали и читали свои произведения А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А. И. Куприн, И. А. Бунин, Н. Г. Гарин-Михайловский, В. В. Вересаев, А. С. Серафимович и другие. (Позднее многие из них объединились вокруг издательства "Знание", которое, начиная с 1904 года, стало издавать литературные сборники того же названия и приблизительно за девять лет выпустило 40 таких сборников.)

[3] Там же, стр. 25. Этот решающий момент своей жизни Б. К. Зайцев описал также в автобиографической повести "Юность" (Б.К. Зайцев. Юность. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1950, стр. 151-152). Важность этого как бы мистического посвящения в литературу вспоминается автором в "Вандейском эпилоге", в день пятидесятилетнего юбилея своей писательской деятельности (Борис Зайцев. Вандейский эпилог. В сб.: В пути. Изд. "Возрождение", Париж, 1951, стр. 208).

[4] Б. К. Зайцев. Письмо, адресованное мне, Париж, 15-го апреля 1968 г.

[5] Там же. Эту вырезку из газеты "Курьер", редактором которой в 1901 году был Леонид Андреев, прислали Б. К. Зайцеву всего несколько лет назад. Между прочим, в подписи автора эскиза "В дороге" произошла типографская ошибка: напечатано П. Зайцев, вместо Б. Зайцев. "Хоть и П., а написал все-таки я", – говорит Б.К. Зайцев в письме ко мне от 27-го января 1969 г. – А. Ш.

С первых же рассказов юный писатель был замечен. В своих "Рассказах о встречах и о былом" Н. Д. Телешов вспоминает:

Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами.

– Юноша талантливый, – говорил про него Андреев. – Напечатал в "Курьере" хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк.

Юноша всем понравился и с того вечера он стал членом Среды и ее посетителем. Вскоре из него выработался писатель – Борис Зайцев.[6]

В 1904 году Б. К. Зайцев впервые посетил Италию, и, как когда-то случилось с Гоголем, эта страна навсегда вошла в душу писателя своей "природой, искусством, обликом народа, голубым своим ликом."[7]

Это моя душа и лучшее в жизни, что со мной было. Пожалуй, просто часть этой моей жизни.[8]

Я ее принял, как чистое откровение красоты. Тогда же полюбил двух спутников моих навсегда – Данте и Флобера.[9]

И действительно, почти всю свою жизнь Б.К. Зайцев работает над переводом "Божественной Комедии" Данте, который, наконец, вышел в Париже в 1961 году. Образ великого флорентийца, приговоренного к смерти эмигранта конца тринадцатого–начала четырнадцатого веков, сопутствует русскому писателю-эмигранту XX века до последнего времени. В 1965 году этому "нищему страннику с котомкою за плечами"[10] посвящен Борисом Зайцевым небольшой, но проникновенный биографический очерк "Данте. Судьба".

По возвращении из Италии в Россию Б. К. Зайцев печатает очерки под общим заглавием "Италия": "Сиенна", "Фьезоле", "Венеция", "Флоренция" и др.

В 1906 году в издательстве "Шиповник" в Петербурге вышел первый сборник рассказов Б. К. Зайцева, с которого

---

6 Н. Телешов. Все проходит. Рассказы о встречах и о былом. Изд. "Никитинские субботники", Москва, стр. 69.

7 Б. К. Зайцев. О себе, стр. 26.

8 Б. К. Зайцев. Письмо, адресованное мне, Париж, 2 июля 1968 г.

9 Б. К. Зайцев. О себе, стр. 26.

10 Борис Зайцев. Данте. Судьба. "Возрождение", №166, Париж, октябрь 1965, стр. 11.

фактически и начинается первый период его творчества, продолжавшийся до 1922 года – года, в который писатель с семьей выехал за границу: сначала в Италию, где прожил около года, затем – в Париж, где и живет в настояшее время.

По словам самого автора, произведения этого первого сборника "Рассказы", "как из зерна", выросли из эскиза "В дороге".[11] Эти рассказы представляют собой бессюжетные поэмы, проникнутые лиризмом, импрессионизмом и духом музыки. Это скорее стихи в прозе. Может быть, поэтому раннего Зайцева в критике того времени называли "поэтом прозы".[12]

Юлий Айхенвальд отметил, что в рассказах Зайцева нет содержания, "но там и здесь разлиты по ним "сладостные и очаровательные капли поэзии", но есть в них тихая и подлинная поэзия, переливы настроений, неуловимая отрада и красота".[13]

В рецензии на этот сборник, вышедший в 1907 году вторым изданием, А. Топорков пишет:

Никакая общая мысль не связывает и не проникает его произведений; они распадаются на ряд стихотворений в прозе....

Композиция отсутствует у Б. Зайцева, его "рассказы" нельзя рассказать, их можно только прочесть или молча про себя, одними глазами, или вслух, под аккомпанемент простой бесхитростной музыки. Сюжета нет, части не теряются в целом; они ведут самостоятельную жизнь, атомизированную и прерывную; это отдельные мгновенные апперцепции, фотографии творческого духа, и за ними стоит другое, Неведомое, жизнь которого невысказана и непонята, темная стихийная жизнь единой субстанции: "В этих звуках, в медленном тугом ходе в голове солдатообразного, в ненужных, неожиданных толчках саней, в грубой бараньей полости, скатанных клубках шерсти на брюхе и боках лошадей – Крымов ощущает одно простое и великое, чему имени он не знает и что он любит глубоко".

Здесь реализм Б. Зайцева переходит в мистицизм.[14]

И пантеистическую настроенность рассказов Зайцева и его мистицизм отмечали также другие критики того времени:

[11] Б. К. Зайцев. О себе, стр. 26.

[12] Там же, стр. 26.

[13] Юлий Айхенвальд. Борис Зайцев. Наброски. В кн.: Силуэты русских писателей, т. Ш. Книгоиздательство "Слово", Берлин, 1928, стр. 209.

[14] А. Топорков. О новом реализме и о Б. Зайцеве. "Золотое руно", X, 1907, стр. 48–49.

Юлий Айхенвальд, Н. Коробка, В. Полонский-Гусин.[15] "Мистика – вот атмосфера зайцевских рассказов", – восклицает последний.

То были годы символизма, которому Зайцев отдает дань: он читает Брюсова, Бальмонта, Федора Сологуба, Леонида Андреева; из иностранных символистов – Бодлера, Верлена, Метерлинка, Верхарна, но особенно выделяет бельгийского поэта и романиста Жоржа Роденбаха (1856-1898). Можно предполагать, что импрессионизм и религиозная окрашенность творчества последнего находили отклик в душе будущего религиозного писателя-импрессиониста. Сам Зайцев, однако, утверждает, что ни один из этих поэтов и писателей-символистов не оказал какого-либо существенного влияния на его "молодость литературную", хотя в то же самое время признает, что известная атмосфера того времени как-то действовала на его общую настроенность – "более внешне, формою".[16]

На развитие же внутреннего мира писателя, на формирование его мировоззрения большое влияние оказал Владимир Соловьев. "Тут не литература, а приоткрытие нового в философии и религии. Соловьевым зачитывался я в русской деревне, в имении моего отца, короткими летними ночами. И случалось, косари на утренней заре шли на покос, а я тушил лампу над "Чтениями о Богочеловеке". Соловьев первый пробивал пантеистическое одеянье моей юности и давал толчек к вере", – говорит Борис Зайцев в очерке "О себе".[17]

Наряду с Владимиром Соловьевым, большое значение для духовного развития молодого писателя имели также философские концепции Н. А. Бердяева. В своих воспоминаниях о встречах в России и за границей, в годы эмиграции, с супругами Бердяевыми Зайцев пишет: "В молодости я немало его (Бердяева, – А.Ш.) читал и в развитии моем внутреннем он роль сыграл – христианский философ линии Владимира Соловьева . . . . Повторяю, имел он на меня влияние как философ".[18]

---

[15] Юлий Айхенвальд. Борис Зайцев. Наброски. В кн.: Силуэты русских писателей, т. Ш, стр. 204–222.

Н. Коробка. Борис Зайцев. Критический этюд. "Вестник Европы", IX, сентябрь-октябрь 1914, стр. 295–315.

В. Полонский-Гусин. Б. Зайцев. Критический этюд. "Всеобщий Ежемесячник", январь 1911, стр. 102–113.

[16] Б. К. Зайцев. О себе, стр. 26.

[17] Там же, стр. 26.

[18] Борис Зайцев. Далекое. Изд. Inter-Language Literary Associates, Washington, D.C., 1965, стр. 62

Новое в мировоззрении Б. К. Зайцева не замедлило отразиться в его писаниях. Начинают звучать, хотя еще несколько приглушенно и не вполне отчетливо, религиозные мотивы (рассказ "Миф", 1906 г.). Их звучание достигает определенности и глубокой внутренней силы в первом романе Зайцева "Дальний край" (1912), проникнутый также лиризмом и поэзией. "Дальний край" – Италия, край солнца и высшей гармонии; чужая страна, но близкая сердцу зайцевских героев – их духовная родина. Так же, как и герои Толстого и Достоевского, ищут Бога скромные и незаметные герои романа Зайцева "Дальний край". Каждый через свое "горнило сомнений" приходит к вере.

Древний вопрос мучил в то лето Петю: есть ли на самом деле природа, Бог, – или все – обман, фантасмагория слуха и зрения? Горше всего было то, что в позиции ненавистного Канта была доля правды. Но отвергнуть звезды, небо, солнце, отвергнуть закат во ржах казалось ему безумием. "Конечно, если смотреть иным глазом, – все представится по-другому, но ч т о – т о все же есть, и оно хорошее, Божье, настоящее. Не может оно растаять, не существовать".[19]

Обретает также веру террорист Степан, бежавший из сибирской ссылки и пробравшийся в Италию.

Сколько времени пролежал так Степан, он не смог бы ответить. Необыкновенный, светлый покой охватил его. Глядя на золотую звезду, горевшую над горами там, где была Парма, он вдруг ясно и кротко почувствовал, что Истина уже вошла в него, что он уже не тот, что раньше, а как бы новый, обреченный. Эта истина была евангельская простота, любовь, смирение и самопожертвование. И он понял, что в эту ночь, вот сейчас Спаситель мог бы пройти по бедной горной тропинке, с учениками. И тогда он, Степан, смиренно подошел бы к Нему, как некогда блудница, поцеловал бы руку и просил бы позволения следовать за ним. Они направились бы в ту далекую страну, Вечность, куда ведут пути всех человеческих жизней . . . Надо жить, но по-новому, по завету Того, Кто крестной смертью потвердил и освятил божественную правду Своего учения.[20]

---

[19] Бор. Зайцев. Дальний край. В литературно-художественных альманахах "Шиповник", кн. 20–21, С.–Петербург, 1913, кн. 21, стр. 21–22.

[20] Там же, стр. 93–94.

Потвердил свою новообретенную веру в Христа Степан принятием высшей для христианина смерти – "душу свою положи за други своя": по возвращении в Россию Степан был арестован и снова сослан; в ссылке он чужую вину – убийство солдатом унтер-офицера – взял на себя и был расстрелян.

Религиозная настроенность творчества Б. К. Зайцева и христианский дух его произведений этих лет были, конечно, отмечены критикой:

> Теперь уже можно сказать без всякого риска ошибиться, – пишет А. Долинин, – что все творчество Зайцева, если взять его в целом, знает, как основной мотив свой, заунывную настроенность тихой, благоговейной молитвы, в которой всегда чуется или проникновенное стремление к "священной серьезности, обращающей жизнь в вечность" или робкая стыдливая благодарность Творцу, если в самом деле удается уловить просветы в эту вечность; что мир воспринимает он всегда как святую тайну, религиозно, благоговейно, воспринимает именно как христианин, а не как язычник.[21]

В 1911 году появилась в печати пьеса Б. К. Зайцева "Усадьба Ланиных" (в гг. 1915-1916 ставилась театром Корша в Москве), "написанная в тонах тургеневской и чеховской сдержанной грусти".[22] В этой пьесе Зайцев дает картину когда-то крепкой и налаженной усадебной жизни, подходящей к концу. Через всю пьесу проходит тема любви, разделенной и неразделенной. Прекрасна любовь счастливая, но также прекрасна любовь скорбная, неразделенная. Горя, даже в разделенной любви, больше, чем радости – "все несчастны", но надо покориться, принять страдания и терпеть, терпеть: ведь "все мы люди, и все должны духом своим высоко стоять",[23] – говорит одна из героинь пьесы.

В дни войны 1914-1916 гг. вышла книга рассказов Бориса Зайцева "Земная печаль", спокойная меланхолия которых еще больше приближала Зайцева к Тургеневу и Чехову.

В 1918 году появилась повесть "Голубая звезда", которую не только сам автор считает "самой полной и выразительной[24] из всего написанного им до 1922 года, т.е. за весь первый период своего творчества. Известный критик и

[21] А. Долинин. Б. Зайцев и А. Ремизов. В сб.: Бюллетени литературы и жизни, 1–7, Москва, апрель 1912, стр. 179.

[22] Иван Тхоржевский. Русская литература, стр. 545.

[23] Борис Зайцев. Усадьба Ланиных. "Шиповник", кн. 15, С.-Петербург, 1915, стр. 270.

[24] Б. К. Зайцев. О себе, стр. 27.

литературовед И. Тхоржевский пишет: "Лучшее из написанного за этот период, до разлуки с родиной, – повесть Зайцева "Голубая звезда".[25]

"Голубую звезду" относил к числу своих любимых книг и Константин Паустовский:

> Чтобы немного прийти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнущим светом любимые книги: "Вешние воды" Тургенева, "Голубую звезду" Бориса Зайцева, "Тристана и Изольду", "Манон Леско". Книги эти действительно сияли в сумраке киевских вечеров, как нетленные звезды.[26]

"Голубая звезда" была для Зайцева как бы завершением целой полосы жизни, лирическое прощание с прошлым, дореволюционным: с мирной веселой Москвой, с талантливой, полубогемно-беспечной молодостью, с беззаботной жизнью вообще. Да, все преходяще, неизменно только льет свой таинственный свет небесная Дева – голубая звезда Вега, альфа созведия Лиры – символ всего божественно-прекрасного, что разлито в мире: вечно-женственного, любви, печали. Голубая звезда "наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное и летучее – и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность".[27]

Наступили годы революции и кровавого террора. Потрясения, с ними связанные, и страдания первых пореволюционных лет еще более углубили религиозное чувство писателя.

Написанное Борисом Зайцевым за эти годы (1918 – 1922) распадается на две группы.

К первой относятся произведения, являющиеся отзывом на современность, как например, рассказы "Белый свет" (1921), "Душа" (1921), написанные в духе примирения и христианского смирения; пронизанный мистицизмом и

---

25 Иван Тхоржевский. Русская литература, стр. 545.

26 К. Паустовский. Начало неведомого века. Изд. "Советский писатель", Москва, 1958, стр. 137.

В своих воспоминаниях "Родители, наставники, поэты" Леонид Борисов рассказывает, как в дни блокады Ленинграда, в мае 1942 года, он с М. А. Сергеевым, бывшим директором издательства "Прибой", читали Бунина, Зайцева, Куприна ("Звезда", №12, декабрь 1966, стр. 160).

27 Борис Зайцев. Голубая звезда. В сб.: Путники. Изд. "Русская земля", Париж, 1921, стр. 338.

напряженностью революции рассказ "Улица св. Николая" (1920) – Арбат называет автор улицей святого Николая: три церкви на Арбате – Никола Плотник, Никола на Песках и Никола Явленный. Был Арбат образом жизни беспечной, пьяного веселья и греха, но звуки танго и звон бокалов сменяются музыкой революции: "Страшный час, час грозный. Смертный час – призыв. Куда? – Вперед, и в ногу, и под барабан. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель, и смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым. Раз-два, раз-два!"[28] Стал Арбат свидетелем братоубийственной войны, увидел нищету и голод вчерашних "господ" и торжество новых людей "в галифе, брито-сытых, с красной пентаграммой на фуражках". Но через страдания приходит очищение от грехов, надежда и новая жизнь –

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в мятель жизненную проведет. Так, расцветет мой дом, но не заглохнет.[29]

В целом, произведения этой группы можно было бы кратко охарактеризовать так: все принимаю, терплю и надеюсь – да будет воля Твоя!

Вторая группа произведений 1918–1922 годов характерна отходом от современности: короткие драматические зарисовки – "Души Чистилища" (1922) и "Дон Жуан" (1919); новеллы "Карл У" (1919) и "Рафаэль" (1919). Эти новеллы свидетельствуют о появлении у Б. К. Зайцева интереса к жизни великих людей. Именно отсюда ведут начало биографические темы, которые занимают значительное место во втором периоде творчества писателя и приводят к биографиям Тургенева, Жуковского и Чехова.

Карл У – император священной римской империи и король испанский, страстный поборник католицизма и смертельный враг еретиков – в 1556 году сложил с себя императорскую

[28] Борис Зайцев. Улица св. Николая. В сб.: Тихие зори. Изд. "Товарищество Зарубежных Писателей", Мюнхен, 1961, стр. 89.

[29] Там же, стр. 97.

корону и удалился на покой в монастырь св. Юста в западной Испании. Местами с грустью, местами с налетом легкой иронии повествуется в новелле о том, как в молитве и в размышлениях о прошлой бурной жизни, о славе и о грехах проходят в монастыре последние дни жизни этого полумонаха-полувластелина, пожелавшего стать последним рабом Христовым, но тем не менее не утратившего интереса к мирским делам и к гастрономии.

Новелла "Рафаэль" представляет собой синтез документальных биографических данных о последних шести-семи днях жизни великого художника и творческого воображения автора. С любовным вниманием и вдумчивостью, которые с этого времени становятся характерными чертами Б. К. Зайцева как писателя биографического жанра, подходит он к воссозданию обаятельного образа Рафаэло Санцио. Этот образ Рафаэля – человека и художника – раскрывается через дневниковые записи обожающего его ученика Дезидерио и в диалогах и внутренних монологах, построенных автором с большим художественным чутьем. Перед глазами читателя встает образ Рафаэля – избранника неба, жизнь которого, "каждый ее миг – есть хвала, высший фимиам Творцу, наделившему его великими дарами".[30]

Он одержим любовью к искусству и к жизни и не устает восхищаться красотой и живых женщин и мраморных богинь. "Дни его горят. Ему мало дней. Мало работ, заказов, наблюдений, мало славы и восторгов кардинала, св. Отца. И ночей не щадит он. Редко возвратится ранее рассвета – но всегда юный и всегда очаровательный... Впрочем, иной раз как бы тень, раздумье и мечтательность проходят в нем – он тогда удаляется от всех...",[31] – говорит Дезидерио о своем любимом учителе.

Так днями (и ночами!), полными "исканья, чувств, творенья",[32] неуклонно идет Рафаэль к предначертанной ему судьбе – смерти от неизвестной болезни в Светлую Пятницу, в годовщину своего рождения, 37 лет от роду (6 апреля 1520 г.). Свою обреченность и преждевременный конец он предчувствует и принимает:

– Вся жизнь, – сказал Рафаэль, – как вон то облачко, золотая ладья, скользящая в закате. Приходит, уходит.[33]

30 Борис Зайцев. Рафаэль. В сб.: Тихие зори, стр. 61.

31 Там же, стр. 61.

32 Там же, стр. 58.

33 Там же, стр. 79.

На фоне полных лиризма и поэзии пейзажей ночного Рима, Рима в утренние и закатные часы весны, через всю новеллу проходит мотив неотвратимой и почти сверхестественной своей внезапностью смерти в расцвете молодости, красоты и таланта.[34] Потрясенный смертью Рафаэля, Дезидерио записал в своем дневнике:

"Сравнивая его с другими людьми — здесь в Риме, я довольно насмотрелся — я всегда думал, что Учитель — особенное существо. Весь он будто бы создан из более нежной и тонкой ткани, нежели мы. Он изящнее, легче, хрупче всех нас. В этом грубом, — все-таки — мире он прошел светлой кометой, и надолго загоститься тут не мог".[35]

В 1921-1922 гг., до отъезда за границу, Б. К. Зайцев был председателем Московского Союза Писателей.[36]

Может быть, лучшим заключением первой половины этой главы и переходом ко второй ее части — заграничному периоду творчества Б. К. Зайцева — будет цитата из его письма, переданного по радио на родину летом 1953 года:

Я уехал из Москвы, где провел всю свою молодость, в июне 1922 года. Меня выпустили за границу для лечения после сыпного тифа. Уехал, собственно не из-за болезни, а потому что в России писать и печататься для меня стало невозможно. И вот тридцать лет живу в Париже, как другие сотоварищи мои по литературе. Сказать, что жизнь эмигрантская легка, было бы неверно. Однако, за тридцать лет ни разу я не пожалел, что выехал. Это было необходимо и в судьбе свободного писателя — неизбежно.

. . . .

Разлюбить Россию не могу, так же как не мог бы разлюбить и мать. Да оба эти образа для меня и сливаются, оба во мне и уйти не могут. Живя вне Родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней — о своеобразном складе русской жизни, о русских людях, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России.[37]

---

34 В новелле рассказывается, что также внезапно, в 1512 году, ушла из жизни красавица Империя, возлюбленная Рафаэля, совершенную красоту которой он увековечил своей кистью.

35 Там же, стр. 82.

36 С 1955 года по сей день Б. К. Зайцев состоит председателем Парижского Союза Писателей и Журналистов.

37 Текст письма приведен в статье Михаила Корякова "Листки из блокнота. Позывной", помещенной в газете "Новое Русское Слово", Нью Йорк, 31 марта 1968 г.

Сами строки этого письма как бы определяют характер творчества Б. К. Зайцева в годы эмиграции. Этот зарубежный период открылся выходом в 1922 году в Берлине в издании З. И. Гржебина полного собрания сочинений Б. К. Зайцева в шести томах, написанных еще в России до отъезда за границу. Каждый том отдельно озаглавлен по произведениям, входяшим в эти тома: "Тихие Зори", "Сны", "Голубая звезда", "Усадьба Ланиных", "Земная печаль" и "Италия".

За редким исключением, все произведения зарубежного периода творчества Б. К. Зайцева обращены к России. Их можно было бы разбить по темам следующим образом:

1. Произведения, рисуюшие предреволюционные годы в России и годы революции. Из них следует отметить:

Роман "Золотой узор" (1926 г.) – "некий суд и над революцией и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение и покаяние – признание вины".[38]

Повесть "Странное путешествие" (1926 г.), в которой досказана судьба мечтателя Христофорова – героя "Голубой звезды", до смерти, через годы всеобщего голода, разрухи и крови, пронесшего в себе незапятнанным свой светлый звездный мир.

Повести "Авдотья-Смерть" (1927) и "Анна" (1929). Эти две вещи выпадают из общего фона зайцевского творчества – написаны они совсем в другой тональности и стилевой манере. Нет в них характерных для Зайцева поэтичности, лиризма и мягких акварельных красок. В свое время Сергей Глаголь говорил тогда только вступавшему в литературу юному Зайцеву: "Зайчик, . . . душка, ты опять мармелад свой развел? . . . Ты мне дай, чтобы с жутью . . ."[39] В повести "Анна" "Зайчик" этот с трагическим реализмом, масляными красками нарисовал "жуть" русской революции. Нет "мармелада" и в повести "Авдотья-Смерть".

2. Произведения, тема которых – чужая земля:

Несколько очерков и воспоминаний об Италии, написанных в разное время (1954-1964) и объединенных под общим заглавием "Италия" (вошли в сборник "Далекое", 1965 г.).

[38] Б. К. Зайцев. О себе, стр. 28.

[39] Борис Зайцев. Сергей Глаголь. В сб.: Москва. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1960, стр. 32.

"Дом в Пасси" (1933) – роман из эмигрантской жизни. Нельзя, однако, сказать, что этот роман совершенно не связан с Россией. Не связан только внешне: действие романа происходит на чужой земле – в Париже. Внутренне же – все ведет к России. Оттуда вышли эти разные люди, в сердце которых еще жива связь с родной землей, и поселились в доме в Пасси. Их прошлое пришло с ними и накладывает свою печать на их настоящее, поэтому одним из них легче, другим сложнее, а некоторым просто невозможно пустить корни в чужую землю. Так одинокая девушка Капа кончает жизнь самоубийством. Затаенное в их душах горе и скрытые от всех грехи угадывает иеромонах Мельхиседек[40] – один из привлекательнейших в русской литературе образов православного священника. Он, как чеховский о. Христофор ("Степь"), всегда ровный, приветливый, улыбающийся, все понимающий, но не осуждающий. Общее впечатление от него – "Что-то серебряное, как показалось Капе, вошло в комнату".[41] О. Мельхиседек не поучает, как старец Зосима Достоевского, а "больше собой действует, своим обликом, скромным голосом, седою бородой".[42] И, конечно, деятельной любовью к своей пастве.

3. Автобиографическая тетралогия – "роман-хроника-поэма", как назвал ее автор в очерке "О себе".[43]

Тетралогия имеет общее заглавие по названию первой книги – "Путешествие Глеба" (1934-1936), вторая книга озаглавлена – "Тишина" (1939), третья – "Юность" (1944) и четвертая – "Древо жизни" (1952).

Жизнь человеческая – путешествие. Идет по жизни Глеб – сначала мальчик, потом подросток-гимназист, затем юноша-студент; и, наконец, взрослый человек-писатель продолжает свой жизненный путь, но уже по чужой земле. В этом очень личном, интимном повествовании об отошедшем в историю прошлом доминирующей нотой звучит грусть. В этой тетралогии, более чем в каком-либо другом произведении, образ автора сливается с "я" монологического повествования.

---

40 Прототипом о. Мельхиседека послужил архимандрит Кирик, афонский монах – "близко списан", – сообщил Б.К. Зайцев во время беседы со мною в Париже, 9 августа 1968 г.

41 Борис Зайцев. Дом в Пасси. "Современные Записки", кн. 51, Париж, 1933, стр. 40.

42 Там же, кн. 54, стр. 9.

43 Б. К. Зайцев. О себе, стр. 28.

4. Произведения православно-религиозной направленности.

В творчестве Б. К. Зайцева особое место занимают произведения глубокой внутренней настроенности, созданные им под влиянием русской религиозной литературы, главным образом, – Житий Святых. Эти произведения: "Преподобный Сергий Радонежский" (1924),"Алексей Божий Человек" (1925) и "Сердце Авраамия" (1926). К этой же группе следует отнести "Афон" (1928) и "Валаам" (1936), являющиеся описанием паломничеств Б. К. Зайцева в монастыри Афона и Валаама, написанные "православным человеком и русским художником",[44] как говорит автор в предисловии к "Афону". Одна из глав в книге "Афон" – "Святые Афона" – посвящена жизнеописанию трех афонских святых: Петра Афонского, святого Афанасия и святого Иоанна Кукузеля.

"Преподобный Сергий Радонежский" – это не только жизнь и деяния великого русского святого 14-го века, пересказанные верующим мирянином, но по существу это первая художественная биография Б. К. Зайцева. В этом произведении уже в значительной мере определилось мастерство писателя этого жанра. Андре Моруа бы отметил, что здесь налицо основные условия биографии:

Объект изображаемого, автору гомогенный. В данном случае это русский святой, который "одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских".[45]

Есть и цель произведения – "восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя, и провести читателя через ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой".[46]

Документальность положена в основу произведения. Жизнь и деяния Преподобного Сергия описываются

44 Борис Зайцев. Афон. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1928, стр. 126.

45 Борис Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1925, стр. 5.

46 Там же, стр. 8.

Зайцевым на основании "Жития Преподобного Сергия", составленного известным жизнеописателем и учеником Пр. Сергия Радонежского Епифанием Премудрым (проведшим при Пр. Сергии не менее 16-17 лет) и переработанного позднее сербом Пахомием Логофетом. В ткани зайцевского повествования – экскурсы в русскую историю и отступления, свидетельствующие о том, что автор не раз обращался к русским летописям, изучал Жития Святых, историю русской православной церкви и монашества, читал древнюю русскую историю, от которой неотделимы жизнь и деяния этого святителя – "глубочайше русского, глубочайше православного".[47]

С особым вниманием подошел автор к воссозданию образа преп. Сергия – утешителя, миротворца и молитвенника за грешный мир – того праведника, без которого, начиная с библейских времен (см. Книгу Бытия, 18, 20-33) и до наших дней,"не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша".[48] Спокойно, строго, но без иконности, которую придает изображаемому житие, Зайцев показывает нам живого человека: сначала мальчика – тихого, скромного и послушного отрока Варфоломея, затем – взрослого человека, простого и смиренного, постепенно восходящего к святости через подвиг отшельничества (до него неизвестный), а потом монашества, неустанной молитвы и самоотреченного труда.[49]

Совсем в другом ключе написан "Алексей Божий Человек". Здесь Зайцев-художник оставил позади Зайцева – почтительного жизнеописателя святого. По манере письма – реконструкция диалогов, лиричность пейзажей, детальность портретных зарисовок – "Алексей Божий Человек" приближается к новелле "Рафаэль" и мог бы тоже быть назван новеллой. Не влияние ли это той же Италии? Ведь Алексей – сын богатого и знатного римского патриция, которого Зайцев рисует философствующим, снисходительно творящим милостыню сибаритом. В данном случае Зайцев, видимо, начал там,

---

47 Там же, стр. 96.

48 А. Солженицын. Матренин двор. "Новый мир", январь 1963, стр. 63.

49 В своей рецензии на книгу "Преподобный Сергий Радонежский" Зинаида Гиппиус ставит автору в недостаток, "или что-то вроде недостатка, почти стилистического", простоту его языка. Упрек, как мне кажется, несправедливый, т.к. простота и чинность оттеняют возвышенность предмета повествования. (Зинаида Гиппиус, рецензия на книгу Бориса Зайцева "Преподобный Сергий Радонежский" – "Современные Записки, XXУ, Париж, 1925, стр. 547).

"где кончился документ",[50] и, может быть, как раз поэтому и назвал эту вещь "Алексей Божий Человек", а не по-церковнославянски Алексий Божий Человек (ср. "Преподобный Сергий Радонежский", а не Сергей), что в какой-то мере обязывало бы придерживаться рамок канонического жития.[51]

Творческое воображение писателя претворило традиционное житие святого в опоэтизированное повествование об Алексее Человеке Божием – символе простоты, любви христианской, смирения и бедности, – "любовью и молитвою заступившемся за мир".[52] Внешняя, ярко выраженная сюжетная линия – следование Алексеем пути, указанному ему Богом, – пронизана мотивом любви к "единственной на свете", чего нет в каноническом житии святого. Духом этой особенной, переходящей в вечность любви проникнуты фактически оба образа – и Алексея и оставленной им в брачную ночь юной жены его Евлалии.

Мучительно прекрасна была она для него.

– Лучше тебя никого нет, сказал. – Нет, и не будет. . .

– Но я не могу с тобой остаться. Я должен уйти отсюда.

. . . .

– . . . Я люблю тебя, но не могу быть твоим мужем. Я не буду ничьим мужем. Я ухожу.[53]

Долгие годы хранит Евлалия верность Алексею и ждет его. После же его кончины она продолжала его подвиг, навсегда удалившись в неизвестность из богатого дома родителей своего святого мужа, как когда-то сделал Алексей.

В зайцевском описании кончины и погребения Алексея отсутствуют традиционные черты жития святого: плачи родных и народа, посмертные чудесные исцеления больных (ср. с

---

50 "Там, где кончается документ, там я начинаю",– писал Юрий Тынянов (Ю. Тынянов. Как мы пишем. В сб.: Юрий Тынянов, стр. 197).

51 При личной встрече в Париже, 9 августа 1968 года, Б.К. Зайцев потвердил это предположение относительно заглавия "Алексей Божий Человек" (а не Алексий). Интересно отметить, что митрополит Евлогий – в то время глава Русской Православной Церкви Западной Европы – неодобрительно отозвался об "Алексее Божием Человеке".

52 Бор. Зайцев. Алексей Божий Человек. "Современные Записки", ХУ1, Париж, 1925, стр. 212.

53 Там же, стр. 200.

проложным житием).[54] Вместо них, Зайцев вводит сказочный элемент: "Голуби безмолвной вереницею сидели по всему краю гроба. А ласточки, виясь над ним, пели псалом . . . Голуби по-прежнему держали караул. Ласточек сменили жаворонки, жаворонков – перепелки, и так продолжалось, пока не прибыл папа Иннокентий".[55]

Еше богаче сказочной окрашенностью и дальше от канонического жития "Сердце Авраамия" (первоначальное название – "Богородица Умиление Сердец. Сказание"), 1926 г. В этом рассказе о св. Авраамии Галичском, ученике и последователе преп. Сергия Радонежского, "фантазии и выдумки девять десятых", – говорит автор.[56] Птицы и животные говорят с Авраамием человеческим языком и помогают ему найти путь к чудотворной иконе Богородицы Умиление Сердец: ". . . зайчик – серенький, стоит на задних лапках и ушами прядает, как будто кланяется ему. И Авраамий подошел к зайчику, а зайчик легонько запрыгал по тропинке, все на Авраамия оглядывается и ушком знак подает: за мной мол иди. Так шли они ни много ни мало, вдруг полянка и на ней часовенка. Зайчик оба уха накрест наклонил, сказал: – Вот, Авраамий!"[57]

5. Произведения биографического жанра.

В сборники "Далекое" (1965) и "Москва" (переиздан в 1960 г.) вошли написанные в разные годы, начиная с 1925 года и кончая 1963 годом, воспоминания Б. К. Зайцева о встречах, о дружбе, иногда и о разногласиях со своими современниками – русскими поэтами, писателями, критиками. Это своеобразная галерея портретов, силуэтов и даже просто набросков. Перед глазами читателя проходят образы Андрея Белого, Блока, Бальмонта, Гершензона, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Юлия Айхенвальда, Вячеслава Иванова,

[54] Проложное Житие Алексия Человека Божия кончается плачем-обращением к солнцу, звездам, луне и птицам родителей и жены и описанием чудес при гробе: "Немии глаголаху, слепии прозираху, беснующиися исцелишася, и всяка иная немощь от страждущих бежаше . . ." (Прологъ, Март–Август. Изд. "Синодальная типография", С.-Петербург, 1896).

[55] Борис Зайцев. Алексей Божий Человек, стр. 211-212.

[56] Письмо Б. К. Зайцева, адресованное мне, Париж, 15 апреля 1968 г.

[57] Борис Зайцев. Сердце Авраамия. В сб.: Тихие зори, стр. 126

Балтрушайтиса и др. С благожелательностью и чуткостью автор "никак не рассчитывая на полноту, передает просто то, что в душе, памяти осталось – сквозь призму лет, всегда накидывающую свой покров".[58]

К более развернутым биографическим произведениям относятся "Царь Давид" (1945) и "Тютчев. Жизнь и судьба" (1949).

"Царь Давид" – это история псалмопевца Давида, рожденного "поэтом, музыкантом: из породы украсителей Вселенной, как Орфей".[59] Начал он простым пастухом с победы над Голиафом и кончил Царем Израилевым. Великий жизнелюбец Давид. Многи и страшны вины его пред Господом, но он не устает взывать: "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое".[60] Он знает, что "сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит". Расстояние во времени в три тысячи лет отделяет библейского Царя Давида от русского писателя Бориса Зайцева, но близок и понятен древний "украситель Вселенной" автору, про которого когда-то Юлий Айхенвальд сказал: "Он (Зайцев, – А.Ш.) – псалмопевец человеческой души, Давид, выступивший со своей арфой против гиганта злобной мировой действительности".[61]

С обычным для него благоволением и пониманием человеческой природы Зайцев пишет: "Не нам разбирать грехи Давида. Мы лишь укажем на дела его. Скажем: "значит, так почему-то надо было в его судьбе".[62] Главное же, что отметил Зайцев и чем образ Давида ему близок – это:

> Бог был во взоре его и в сердце. Был, когда он делал доброе. Когда же делал злое, тоже не мог от Него оторваться...
>
> . . . .
>
> Давид прообразует, дает лик человека вообще, Адама, трепещущего мощью и рожденного во грехе, с вечной тоской по безгрешности.[63]

---

58 Борис Зайцев. Далекое, стр. 3

59 Б. Зайцев. Царь Давид. "Новый Журнал", XI, Нью Йорк, 1945, стр. 23.

60 Там же, стр. 32.

61 Юлий Айхенвальд. Борис Зайцев. Наброски. В кн.: Силуэты русских писателей, т. Ш, стр. 210.

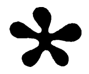
62 Б. Зайцев. Царь Давид, стр. 45.

63 Там же, стр. 49.

"Тютчев. Жизнь и судьба". Вдумчиво, с глубоким пониманием описывает Зайцев жизнь человека очень сложной духовной организации и подчеркивает его особую судьбу и как человека и как поэта: "Тютчев был лирой, на которой сама стихия брала звуки ей ведомые. Он лишь записывал – проносившиеся сквозь него дуновения . . . Жизнь Тютчева можно рассматривать как художественное произведение: имя ему драма". [64]

Основное же ядро группы произведений биографического жанра Бориса Зайцева составляют три его книги: "Жизнь Тургенева" (1929-1931), "Жуковский" (1951) и "Чехов. Литературная биография" (1954), разбору которых посвящены последующие главы этой работы.

Во время встречи и беседы со мной в Париже, 9 августа 1968 года, Б. К. Зайцев сообщил, что после этих трех книг он готовился писать биографию Достоевского, но тяжелая и длительная болезнь жены, Веры Алексеевны Зайцевой, помешала ему осуществить этот замысел.



---

64 Бор. Зайцев. Тютчев. Жизнь и судьба. К 75-летию кончины. "Возрождение", Париж, январь 1949, стр. 108-109.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

"ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВА"

Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы.
Б. К. Зайцев

От живого и почти повсеместного интереса к жанру творческой биографии не осталась в стороне и русская зарубежная литература. В конце 20-х годов одному из членов редакционной коллегии издававшегося в Париже журнала "Современные Записки" И. И. Фондаминскому (псевдоним – Бунаков) пришла мысль издать серию биографий русских писателей и поэтов.

В 1929 году на последней странице XXXУШ номера "Современных Записок" появилось объявление о том, что книгоиздательство "Библиотека Современных Записок" готовит к печати следующие книги:

"Художественные биографии":

И. А. Бунин: М. Ю. Лермонтов
Б. К. Зайцев: И. С. Тургенев
М. А. Алданов: Ф. М. Достоевский
В. Ф. Ходасевич: А. С. Пушкин
В. Ф. Ходасевич: Г. Р. Державин
М. О. Цетлин: Декабристы.

"И я и Ходасевич – мы написали, а Иван (Бунин, – А.Ш.) ничего не сделал", – вспоминает Б. Зайцев, и добавляет, что мысль И. И. Фондаминского о создании серии биографий совпала и с его собственным желанием написать биографию И. С. Тургенева, потому что "Тургенева я давно, с детства, люблю".[1]

1 Из беседы с Б. К. Зайцевым – Париж, 9 августа 1968 г.

Биография Г. Р. Державина была Ходасевичем написана и напечатана в "Современных Записках" (с номера XXXIX по XLIII,

И действительно, Борис Зайцев обратился к биографии русского писателя, близкого ему и по месту рождения – оба орловцы – и по духу: оба писателя прежде всего художники, для которых главное в искусстве – правда и творческая свобода.[2] Их роднит также глубокая любовь к русской природе и то лирическое начало, которое является отличительной особенностью поэтики обоих. Наконец, находит отклик в душе Бориса Зайцева и некоторая склонность Тургенева к мистицизму, отразившаяся, главным образом, в произведениях позднего периода творчества последнего.

По словам самого Б. К. Зайцева (беседа с ним в Париже, 9 августа 1968 года), биография И. С. Тургенева была им написана преимущественно на основе произведений и переписки И. С. Тургенева. Следует заметить, однако, что в годы создания "Жизни Тургенева", 1929-1931, была известна и опубликована только небольшая часть переписки писателя. Тщательное исследование источников показывает, что, помимо произведений Тургенева и его переписки, Зайцевым-биографом были также использованы материалы воспоминаний современников писателя: В.Н. Житовой, А.А. Фета, А.Ф. Кони, Я. Полонского, И. И. Панаева, Н. А. Огаревой-Тучковой, П. В. Анненкова и др.

Беллетризованная биография "Жизнь Тургенева" разбита на 17 кратко озаглавленных глав, охватывающих, в хронологическом порядке, всю жизнь писателя: "Колыбель", "Отрок

1929-1930). Это беллетризованная биография популярно-учебного характера. Из остальных биографий, объявленных как готовящиеся к печати, помимо "Жизни Тургенева" Б.К. Зайцева, были написаны только "Декабристы" (М. О. Цетлин).

"Жизнь Тургенева" была впервые напечатана в "Современных Записках", номера XLIV- XLVII, 1930-1931 гг.

[2] Характерны высказывания обоих писателей на эту тему: И. С. Тургенев: "Поверьте: талант настоящий – никогда не служит посторонним целям и в самом себе находит удовлетворение . . . Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют". (В сб.: Русские писатели о литературном труде, в 4-х тт., т. 2. Изд. "Советский писатель"., Л., 1955, стр. 743).
Борис Зайцев: "Ни указки, ни палки! Вольное излияние, обуздываемое лишь самим собою . . . . Если вы писатель, для вас главное – любить писание, и самим над ним мучиться, и радоваться, ни с кем, ни с чем не считаясь". (В сб.: Старые – молодым. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1960, стр. 45-46).

и юноша", "Чужие края", "В России", "Виардо", "Франция", "Дела домашние", "Ссылка и воля", "Сумрак", "Шестидесятые годы", "Баден", "Катастрофа", "Париж", "Буживаль", "Слава", "Савина" и "Судьба". Автор довольно умеренно пользуется цитацией документального материала, лишь иногда указывая источники в самом тексте биографии. Сносок библиографического характера в книге нет.

Начинается биография (первая глава "Колыбель") с описания скромного пейзажа Орловской губернии, где в городе Орле родился И. С. Тургенев – "будущая слава России". И это описание как бы задает тон всей книге о великом певце природы, увековечившем в русской литературе родные ему орловско-калужские леса и степи.

> Орловская губерния не весьма живописна: поля, ровные, то взбегающие изволоками, то пересеченные оврагами; лесочки, ленты берез по большакам, уходящие в опаловую даль, ведущие Бог весть куда. Нехитрые деревушки по косогорам, с прудками, сажалками, где в жару под ракитами укрывается заленившееся стадо – а вокруг вся трава вытоптана. Кое-где пятна густой зелени среди полей – помещичьи усадьбы. Все однообразно, неказисто. Поля к июлю залиты ржами поспевающими, по ржам ветер идет ровно, без конца без начала и они кланяются, расступаются тоже без конца-начала. Васильки, жаворонки... благодать.[3]

В этих-то привольных местах издавна обосновались предки Тургеневых и Лутовиновых (мать Ивана Сергеевича Тургенева была из рода Лутовиновых). Борис Зайцев дает краткую родословную своего героя, противопоставляя "древний, татарского корня" род Тургеневых менее благообразному роду Лутовиновых, в котором были тираны, скряги, скандалисты и буяны. Но брак обедневшего потомка славного рода Сергея Николаевича Тургенева с владелицей "тысяч крепостных, тысяч десятин орловских и тульских благодатных земель" – девицей Варварой Петровной Лутовиновой связал эти два рода.

Кратко, но живо нарисованы Борисом Зайцевым портреты отца и матери героя биографии. Их образы, как и картины детства и юношества Тургенева воссозданы, главным образом, по произведениям самого писателя ("Первая любовь", "Пунин и Бабурин", "Яков Пасынков") и по

[3] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 5.

воспоминаниям В. Н. Житовой, воспитанницы матери Ивана Сергеевича.[4]

Сергей Николаевич Тургенев – отец писателя – "соединял в себе разные качества предков: был прям и мужествен, очень красив, очень женолюбив",[5] обаятелен, но далек и холодноват и к нелюбимой жене и даже к детям. Мать – Варвара Петровна – была старше мужа на шесть лет, некрасива, со сложным и очень трудным характером. Тяжелое детство и юность, затаенные мучения ревности в замужестве сделали ее болезненно-гордой, раздражительной, деспотичной и даже жестокой не только к дворовым, но и к собственным детям – Николаю и Ивану. Все же Борис Зайцев видит в Варваре Петровне – своевольной помещице-самодурке – также и довольно просвещенную женщину, с артистическими наклонностями и даже с некоторым писательским талантом, сказавшимся в ее письмах к своему знаменитому сыну (этого ее таланта, кажется, никто, кроме Бориса Зайцева, не отмечал). "Сколько страсти, блеска, кипения в ее письмах! Какой темперамент! Гибкость, острота слов, чудесная их путаница, огонь, и как мало это похоже на всегда ровную и круглую прозу, прославившую сына. Ее писание – монолог, без всяких условностей, из недр, из "натуры", – пишет Зайцев.[6]

С колыбели и детских лет, проведенных в богатом родительском Спасском, и до смертного часа прослеживает биограф жизненный и художественный путь своего героя.

Б. К. Зайцев пишет, что в свое время Станкевич и позднее Белинский приняли Тургенева и полюбили "таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева".[7] Вот таким же "пестрым", а главное – "живым" рисует Зайцев своего героя.

Тургенев Зайцева – это очень красивый и обаятельный человек,[8] в котором сочетались с одной стороны – большой

---

[4] В. Н. Житова. Воспоминания о семье Тургенева. "Вестник Европы", девятнадцатый год, т. У1, кн. 12. С.-Петербург, 1884.

[5] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 8

[6] Там же, стр. 35.

[7] Там же, стр. 32.

[8] Эффектная внешность, изящество и элегантность героя сквозной деталью проходят через всю книгу Б. Зайцева: стр. 41, 43, 61, 67, 103, 120, 125, 128, 147. Наконец, на последней – 259 странице книги заключительный параграф: "Сохранилась фотография с него в гробу: действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был".

художественный талант, глубокий ум и широкая, истинно европейская образованность, с другой – нерешительность, слабоволие, страх перед миром неведомого и перед неизбежной смертью. Тут же и маленькие человеческие слабости – склонность к позе, желание прихвастнуть, стремление к внешнему эффекту, некоторое тщеславие и даже "неполная правдивость", – от многих из которых герой книги избавляется в зрелые годы. Раскрыта (и указана) биографом и еще одна черта характера, на которую, кажется, никто из исследователей жизни Тургенева, ни до ни после Зайцева, не указывал – это некоторая холодность к людям, даже к тем, которых он очень любил.

> В Тургеневе всегда была прохлада. Он жил собою .... Тургенев вообще легко забывал. Впечатлительный, и впечатлительности быстрой, текучей, он легко поддавался текучести жизни, неудержимости ее потока. Такой он в юности, такой и в зрелости. Встречал нового человека, мог его обласкать, наговорить много доброго и приветливого, пообещать немало – и в данную минуту искренно – а отойдя, так же искренно и позабыть о нем.[9]

Главное же, Борис Зайцев видит своего героя отмеченным "двойной" судьбой: ему предначертан путь художника и путь человека, навсегда раненного мучительной и неизбывной любовью. Так, описывая жизнь уже тридцатилетнего Тургенева в Париже, в дни французской революции, Зайцев подчеркивает особое предназначенье своего героя: "Тургенев и другие случайные фланеры поспешно "отступили" на rue de l'Échiquier – попросту спаслись бегством. Еще бы Тургеневу драться! Если - б он и захотел, судьба бы не дала ему (разрядка моя, – А. Ш.). Странник и зритель, призван он был видеть, накоплять, и самому слагаться: но не действовать".[10]

Художник в Тургеневе пробудился с появлением в его жизни, тогда еще мальчика, дворового человека - самоучки,

9 Там же, стр. 22.

Это равнодушие к людям выявляется Тургеневым в отношении к отцу, которым он "романтически увлекался. И тотчас же забыл его по смерти", – стр. 22, к матери – стр. 37, к друзьям и знакомым: "забыл попрощаться с Белинским, уезжавшим в Россию (навсегда! там и умер)", – стр. 79, случай с Белинским и Анненковым – стр. 76, отношение к Татьяне Бакуниной – стр. 53, к О. А. Тургеневой – стр. 123, к Герцену – стр. 194.

10 Там же, стр. 92.

любителя словесности, который чтением Ломоносова, Сумарокова, Кантемира и Хераскова приобщил своего юного слушателя к русской поэзии. "В зеленой глубине спасского парка и была решена участь мальчика... Безвестный, добродушный Пунин тронул в барчуке тайную струну: и уже пропал в нем помещик, начался поэт", – пишет Зайцев.[11]

Биограф подчеркивает судьбоносносность и последующих встреч в жизни молодого Тургенева. Так, знакомство с профессором русской словесности Петербургского университета и другом Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя – П. А. Плетневым вводит его в блистательный круг "взрослых и настоящих" литераторов золотого века русской литературы. В свой первый же трепетный визит в дом П. А. Плетнева, куда студент Тургенев был приглашен на литературный вечер, он в передней столкнулся с Пушкиным. И хотя хозяин дома даже не успел их познакомить, "в сердце Тургенева Пушкин остался навсегда".[12] Здесь же увидел юноша Тургенев Кольцова, князя Одоевского, Гребенку, Воейкова, читавшего в этот вечер стихи Бенедиктова. Хотя П. А. Плетнев осудил первую поэму Тургенева "Стено" (1837 г.), он все же как бы и одобрил начинающего писателя, напечатав через год – в 1833 году – в "Современнике" (издание которого перешло к нему после смерти Пушкина) два стихотворения молодого автора.[13]

---

[11] Там же, стр. 13 (разрядка моя, – А. Ш.).

Б. Зайцев восстанавливает этот биографический факт на основе повести И. С. Тургенева "Пунин и Бабурин", поэтому и называет этого дворового-любителя словесности Пуниным. Н. Богословский в книге "Тургенев" (Москва, 1964) говорит, что фамилия его была Серебряков.

[12] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 26.

Уже пятидесятилетним зрелым и признанным художником И. С. Тургенев писал М. А. Стасюлевичу из Парижа, 27/15 марта 1874 года: "Вас Пушкин не может занимать более, чем меня – это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец – и я, как Стаций о Вергилии, могу сказать каждому из моих произведений: "Vestigia semper adora" (И. С. Тургенев. Письма в 13-ти томах, т. 10. Изд. "Наука", М.-Л., 1965, стр. 213).

[13] Эти два стихотворения были: "Вечер" и "К Венере Медицейской". Б. Зайцев пишет: "Не знаю, что давал ему Тургенев. Но выбрал Плетнев спокойное и описательно-элегическое стихотворение "Маститый царь лесов" – как бы подсказывая путь ясный и трезвый" (Жизнь Тургенева", стр. 24). "Маститый царь лесов" – начальные слова первой строки второй строфы стихотворения "Вечер".

В этом же 1833 году, по окончании Петербургского университета, юноша Тургенев едет для продолжения образования в Берлин, где, как подчеркивает Борис Зайцев, сразу же попадает в "кристаллизацию умственных и духовных верхушек". Он дружит со Станкевичем и Грановским, позднее – с Михаилом Бакуниным, посещает литературный салон Фроловых,[14] где бывают известные литераторы, артисты, ученые. Среди них "Александр Гумбольдт, Варнгаген Фон-Энзе, Беттина Арним. Вершины Германии видел двадцатилетний Тургенев в этом русском семействе. Гумбольдт был уже знаменитым ученым, Варнгаген писал по-немецки о Пушкине. С Беттиной входило в жизнь Тургенева веяние Гете".[15]

Однако, как говорит Зайцев, на предназначенном Тургеневу пути, ведущем к литературе, наиболее многозначительным было его знакомство с Белинским, относящееся к 1843 году, и позднее – летом 1844 года – перешедшее в дружбу. Это было "знакомство тоже роковое, прочно прицеплявшее его к литературе" (разрядка моя, – А. Ш.).[16]

Белинский напечатал в "Отечественных Записках" подробный и сочувственный разбор "Параши" – поэмы молодого Тургенева, с которой, по Зайцеву, бесповоротно решается его писательская судьба: "Параша" появилась весною 1843 года, когда он попробовал уже (по настоянию матери) службу – служил у Даля, известного этнографа и знатока языка в Министерстве внутренних дел. Служба его не заинтересовала. И ничего из нее не вышло, как и из профессуры. Славный путь его уже заключался в книжечке "Параша" (разрядка моя, – А. Ш.).[17]

---

14 Н. Г. Фролов перевел "Космос" прославленного натуралиста Гумбольдта и издавал "Магазин землеведения и путешествий".

15 Борис Зайцев, Жизнь Тургенева, стр. 33.

Беттина Арним была другом и почитательницей Гете. Она опубликовала свою с ним переписку "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde", 1835.

16 Там же, стр. 56.

Однако, дальше Борис Зайцев справедливо отмечает: "Нельзя сомневаться, что позже их пути разошлись бы. Если бы в 48 году Белинский не умер, то в шестидесятых громил бы Тургенева" (стр. 75).

17 Там же, стр. 56.

1843-ий год поистине определил судьбу молодого Тургенева: весной этого года "Параша" твердо поставила его на путь литературы, а осенью – пробил для его сердца час фатальной любви, продержавшей его в своем плену до конца жизни. Первого ноября 1843 года Тургенев – "молодой человек, очень образованный и речистый, красивый, элегантно одевавшийся, будущий владелец пяти тысяч "рабов"[18] – был представлен Полине Гарсиа-Виардо, двадцатидвухлетней певице, слава которой облетела всю Европу и привела ее наконец в блестящий императорский Петербург середины прошлого века. Борис Зайцев рисует яркий портрет Виардо, основные черты наружности и характера которой проходят через всю книгу о Тургеневе, как контраст с внешностью и характером героя.

Красотою Виардо не славилась. Выступающие вперед губы, большой рот, но замечательные черные глаза – пламенные и выразительные. Волосы тоже как смоль – она зачесывала их гладко на пробор, с буклями над ушами, они очень блестели и лоснились. Любила носить шали. В разговоре жива, блестяща, смела. Характером обладала властным – в отца. Насквозь была проникнута искусством – искусство это опиралось, разумеется, на страстный женский темперамент.

На сцене она воспламенялась. И сквозь некрасоту лица излучала свое обаяние.

Древняя кровь, древние страсти таились в ней . . . . Может быть, и действительно, сберегла она в себе первозданное . . . . Гейне, человек эротический, боялся ее улыбки, "жестокой и сладостной", и чувствовал в ней экзотику.[19]

В облике Тургенева Бориса Зайцева, видимо, особенно впечатляет его почти мистическая любовь к Виардо. И Зайцев, как писатель-импрессионист, соответствующими художественными приемами передает свое личное восприятие образа и судьбы этого писателя. Приподнято - торжественно,

[18] Там же, стр. 61.

[19] Там же, стр. 59-60.

Ссылки на черные, завораживающие глаза Полины Виардо: стр. 59, 162, 177, 207, 216, 217.

Ссылки на ее благоразумие и твердый характер: стр. 60, 63, 77, 94, 98, 162-163, 173, 206.

чуть ли не пророчески, звучат слова автора биографии, подчеркивающие роковое предназначенье встречи Тургенева с Полиной Виардо: "Но вот именно его судьба, больше всего его собственная, свершилась в двадцать пятый год его рождения и в утро начала ноября."[20]

Однако, Борис Зайцев справедливо замечает: "Тургенев – однолюб" – и верно, и неверно. Виардо прошла через всю его жизнь, но сама жизнь прямой линией не была."[21]

Обычно русские исследователи жизни и творчества Тургенева замалчивают, или лишь вскользь касаются темы "женщина в жизни Тургенева", оставляя, таким образом, в тени важнейшую сторону жизни (да и творчества постольку, поскольку эта тема нашла в нем отражение) писателя – его поклонение "вечно-женственному".[22] Б. Зайцев же беспристрастно и искусно распутывает нити сердечных отношений своего героя. Теме любви, в которой лейтмотивом звучит нерушимая привязанность к Виардо, посвящено много страниц жизнеописания Тургенева. "Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы", – пишет Борис Зайцев и подчеркивает, что Тургенев был постоянно в "поэтически-эротическом трепете", объектом которого были – в большей или меньшей степени – разные женшины до и после встречи с Полиной Виардо.

---

20 Там же, стр. 62.

21 Там же, стр. 120.

22 С. Петров в книге "И. С. Тургенев" (Гослитиздат, М., 1961) не касается "жизни сердца" Тургенева.

Н. Богословский в книге "Тургенев" даже не упоминает имени Савиной – последней и глубокой привязанности Тургенева; не упоминает также и третьей в его жизни Афродиты-Пандемос (Фетиски) периода ссылки в Спасском.

Много также замалчиваний в книге И. М. Гревса "История одной любви" (Изд. "Современные проблемы" Н. А. Столляр, М., 1928). Этот исследовательский труд не отличается, как мне кажется, объективностью и беспристрастностью.

Много подтушевываний в статье Н. Гутьяра "Иван Сергеевич Тургенев и семейство Виардо-Гарсия" ("Вестник Европы", сорок третий год, т. 1У, С.-Петербург, 1908, стр. 417-460).

А. Ярмолинский и Андре Моруа уделяют этой стороне жизни Тургенева почти столько же внимания, сколько уделил ей Борис Зайцев (Avrahm Yarmolinsky, *Turgenev*, New York-London: The Century Co., 1926. André Maurois, *Tourguéniev*, Paris: Bernard Grasset, 1931).

Еще пятнадцатилетним отроком познал герой зайцевской биографии любовь "сразу в двух видах. Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно".[23] Первая – крепостная горничная матери – не оставила следа в его сердце и осталась безвестной, вторую – истинную, но неразделенную свою любовь – прославил он в "Первой любви". "В судьбе Тургенева-сына важно, что первая же его встреча с истинной любовью была встреча безответная. "Неразделенная любовь" – так началась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника", – пишет Борис Зайцев.[24] Этим акцентированием безответности первой истинной любви своего героя Зайцев как бы предвосхищает будущую его несчастную любовь к Полине Виардо.

Встрече с Виардо предшествовали беглые романы и случайные увлечения, из которых вторая в жизни Тургенева Афродита-Пандемос (Авдотья Ермолаевна) в мае 1842 года родила ему дочь Пелагею.[25] Почти одновременно с этой связью протекает роман с сестрой Михаила Бакунина – Татьяной, но, как пишет Зайцев, "Тургенева он целиком не захватил. Истинный его час еше не настал".[26] Целиком и навсегда "захватить" его суждено было Полине Виардо. Даже шестилетняя разлука, последовавшая за первым, может быть, и счастливым трехлетием около Виардо, и привязанности этих лет (1850-1856) не освобождали Тургенева от власти черных "магнетических" глаз Полины Виардо.[27]

---

23 Борис Зайцев, Жизнь Тургенева, стр. 19.

24 Там же, стр. 20.

25 Во время пребывания в Риме в 1840 году Тургенев "вздыхал по старшей дочери Ховриных, Шушу" (стр. 39), немного позднее – "проезжая через Франкфурт, влюбился во встреченную в кондитерской красавицу-девушку (Джемма из "Вешних вод" – но только была она еврейка, а не итальянка). Чуть во Франкфурте из-за нее не застрял – но не его судьба (разрядка моя, – А. Ш.), конечно, прикрепиться к захолустной булочнице" (стр. 40).

26 Там же, стр. 50.

27 Летом 1850 года Тургенев, в результате многократных просьб матери, приехал наконец в Россию, прервав этим свои первые счастливые годы в Куртавенеле и Париже около Виардо. В ноябре 1850 года умирает мать Тургенева. За статью о Гоголе Тургенев был сослан в Спасское, где пробыл с весны 1852 года до осени 1853 года. Этой же осенью Турция объявила России войну (Англия и Франция приняли сторону Турции), и Тургеневу пришлось

Борис Зайцев проводит читателя по перипетиям сердечной драмы Тургенева, показывая, что преодоление любви к Виардо оказалось последнему не по силам. Как только кончилась Крымская война, Тургенев спешит на запад, чтобы там что-то "досказать, дожить, доиспытать" (с Виардо). Но у Полины завелся новый друг – художник Ари Шеффер. И вот тут, пишет Зайцев, Тургенев "в страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу".[28]

К этому тяжелому для него времени относится его знакомство с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт – "женщиной тонкой и умной, мистического склада, глубоко верующей", – нежная дружба, переписка и встречи с которой продолжались около восьми лет.

Б. Зайцев рисует очень привлекательный образ графини Ламберт и этим как бы подчеркивает, что даже такой полной обаяния и духовной красоты женщине не удается вырвать Тургенева из плена любви к Виардо. Все эти годы Тургенев мечется: то Спасское, то Франция, то Москва, то Петербург, то Висбаден, а "В и а р д о в с е в р е м я в т е н и, з а с ц е н о й, в с е в р е м я б о л ь н о е м е с т о" (разрядка моя, – А. Ш.).

Наступает, однако, время, когда "как будто бы увенчалось его терпение" –

> Но вот возврат произошел! Неизвестны его подробности – тайна, незачем и касаться ее. Новая ли это с в я з ь, или новая форма влюбленной дружбы? Одно ясно: есть пафос, расцвет, восторг... "Баденский" период любви – "по своему", или по настоящему, но счастливой![29]

оставаться в России до конца войны – мирный договор с Турцией был подписан в Париже в 1856 году.

К годам пребывания в России относится связь Тургенева с горничной его двоюродной сестры Феоктистой – третья и "последняя в его жизни Афродита-Пандемос" – и "свирельный" роман с дальней его родственницей и крестницей Жуковского Ольгой Александровной Тургеневой, чуть не кончившийся женитьбой.

[28] Борис Зайцев, Жизнь Тургенева, стр. 131.

[29] Там же, стр. 153, 168.

К концу пятидесятых годов у Полины Виардо начал пропадать голос, и она решила перейти на педагогическую работу. Центром своей новой деятельности она выбрала курортный город Баден-Баден, где осенью 1862 года Тургенев гостил в семействе Полины. Здесь, видимо, и произошло сближение (Ари Шеффер умер еще в 1858 году).

Но – "любовь еше раз обманула": к 1870 году у Полины новый друг – баденский доктор, который вошел в ее жизнь "так близко, что надо было быть стариком Виардо, чтобы терпеть это – да Тургеневым, тоже ко многому приученным". Патетически звучат эти слова биографа Тургенева, как и последующие: "Седовласый, покорный, раз навсегда сдавшийся" (разрядка моя, – А. Ш.)[30] в те годы уже признанный великий русский писатель последовал за семьей Виардо в Лондон, затем в Париж (когда события Франко-прусской войны, 1870-1871 гг., заставили Виардо оставить Баден-Баден). Едва ли он теперь влюблен в Полину, но тем не менее "ее власть над ним огромна. Он как бы в заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетичные глаза Полины. Достаточно ей сказать "так" – и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме".[31]

"Его сердце может даже открываться другим" – и Борис Зайцев рассказывает, как приоткрылось оно баронессе Юлии Петровне Вревской, с которой Тургенев встретился в конце 1873 года. Их встречи (во время приездов Тургенева в Россию и за границей) и переписка "тайком от Виардо" продолжаются года четыре, но – снова подчеркивает автор биографии – "блестящая красавица, чудесный, горячий, страстный человек", Вревская, как в свое время графиня Ламберт, не смогла освободить Тургенева от власти блестяще-черных "бодрствующих" глаз Полины Виардо.[32]

Шли годы. Тургенев старел – "Эрос же в нем не гас", – пишет Борис Зайцев. Не освобождаясь (и теперь даже не стремясь освободиться) от власти Полины, он входит в полосу "лебединой песни" владеющего им Эроса. Приехав в 1880

---

30 Там же, стр. 185, 193.

31 Там же, стр. 207.

В письме к П. В. Анненкову от 8 июля 1860 года из Содена Тургенев пишет: "M-me Виардо этого желает, а для меня ее воля – закон" (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. ГИХЛ, М., 1960, стр. 447). – M-me Виардо хотела, чтобы Тургенев из Содена ехал в Куртавенель, что расстраивало условленную встречу с Анненковым.

32 Пока Тургенев ходил "вокруг да около", Вревская уехала сестрой милосердия на русско-турецкую войну, где и погибла от сыпного тифа. Ее памяти он посвятил одно из своих стихотворений в прозе – "Памяти Ю. П. Вревской", сентябрь, 1878 г.

году в Россию на открытие памятника Пушкину, Тургенев часто встречается с артисткой Александринского театра Марией Гавриловной Савиной. Ему шестьдесят два года, ей – двадцать пять! Как и Полина, она черноглаза и черноволоса; как когда-то Полина, она в ореоле славы и поклонения. "Странные, бурно-бесплодные чувства потрясают его", – отмечает биограф.[33] Этой последней любви своего героя посвящает автор отдельную главу, озаглавленную именем героини – "С а в и н а".

В июле 1881 года М. Г. Савина гостила у Тургенева в Спасском, в марте 1882 года приезжала в Париж, а с апреля этого же года начались у него, как он говорил, "невральгические" боли – начало смертельного конца от рака спинного мозга. Несмотря на страшные физические муки, часто пишет Савиной, а она – "За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность", – пишет Борис Зайцев.

Роковой конец Тургенева наступил 22 августа 1883 года. Умирал он почти на руках Полины Виардо.

А в смертный час, когда никого уже почти не узнавал, той же Полине сказал...:

– Вот царица из цариц![34]

Слова эти – заключительный аккорд патетической симфонии любви Тургенева, мастерски переданной Борисом Зайцевым. Этими последними – предсмертными словами герой биографии как бы подвел итог своему пожизненному поклонению "вечно женственному", основным стержнем которого была непреодолимая привязанность к Полине Виардо, обрекшая его на сорокалетнюю жизнь у чужого очага.

В одном из своих писем к графине Ламберт (от 14 октября 1859 года из Спасского) Тургенев писал: "Мне недавно пришло в голову, что в судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое, – только часто это трагическое закрыто от самого человека пошлой поверхностью жизни".[35] Это т р а г и ч е с к о е в судьбе своего героя увидел и сумел показать Борис Зайцев. Жизнь "изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника" прозвучала скорбным

[33] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 240.

[34] Там же, стр. 254, 259.

[35] И. С. Тургенев. Письма в 13-ти томах, т. Ш. Изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1961, стр. 354.

диссонансом: искал любви и не нашел, стремился к счастью и не достиг его, всю жизнь оставаясь "на краюшке чужого гнезда". В форме вопроса подсказывает Б. Зайцев причину несчастной любви своего героя: "Зависело ли это от того, что у Тургенева не было чувства всемогущего светлого Бога?"[36]

Еще ранее, описывая краткий роман и разрыв с Татьяной Бакуниной, Б. Зайцев отметил:

> Не зря мальчик, написавший "Стено" (Тургеневу тогда было 16 лет, – А. Ш.), воскликнул:
>
> Но я как неба жажду веры!
>
> Она не пришла, как не пришла и полная, осуществленная любовь. Если бы была вера, и такая любовь, как у Татьяны . . .[37]

Другими словами: была бы вера, благословен был бы и осуществленной любовью. Но веры не было, и в этом суть внутренней драмы Тургенева. "И если я не христианин, то это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье", – писал в свое время Тургенев графине Ламберт.[38]

Биографу Тургенева удалось вскрыть и показать раздвоенность души своего героя (назвал его "двуликим Янусом"), раздираемой потребностью веры и фактическим неверием, сознательным позитивизмом и влечением к иррациональному и таинственному, особенно ясно выявившемуся в последние годы жизни и творчества писателя. Иррациональные и таинственные ощущения Тургенева граничили с мистицизмом. Однако, будучи сам православным мистиком, Зайцев понял, что мистика его героя "неправославна. Магическое и таинственно-колдовское наиболее его влекло" (разрядка моя, – А. Ш.).[39]

Б. Зайцев показал одинокую тоску и "томления духа" своего героя, начиная со "странного" поведения в доме Герценов и Тучковых в Париже, когда тридцатилетний Тургенев, чтобы развлечь собравшихся (а скорее – чтобы развеять собственную тоску), изображал сумасшедшего и кричал петухом,

---

36 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 202.

37 Там же, стр. 54-55.

38 Там же, стр. 174.

39 Там же, стр. 145.

когда "некий холодок шел уже на него из "пустой беспредельности",[40] и кончая периодом "Сенилий", когда он писал:

"Ах! – думаю я. . . – эта старуха – моя судьба. Та судьба (смерть, – А. Ш.), от которой не уйти человеку!"

. . . .

И вдруг вижу: то пятно (могила, – А. Ш.), что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне: Боже! Я оглядываюсь назад. . . Старуха смотрит на меня – и беззубый рот скривлен усмешкой. . .

– Не уйдешь![41]

(Думаю, что заключительную главу биографии, в которой описываются последние полтора года жизни, смертельной болезни и кончины Тургенева, Борис Зайцев на основании этого именно тургеневского размышления о смерти и назвал – "С у д ь б а".)

Отмечая в своем герое с годами нарастающий пессимизм и ощущение одиночества в слепой и бессмысленной стихии бытия, биограф, однако, подчеркивает, что Тургенев "христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал".[42]

---

[40] Там же, стр. 90.

Полная цитата: "Некий холодок шел уже на него из "пустой беспредельности" – он называл так небо. При подобном ощущении мира, конечно, ближе ему "влажная лапка утки", или "капли воды, падающие с морды неподвижной коровы", чем голубая безбрежность. Если Бога нет и небо пусто, то уж уютней с уткой и коровой. Он писал, разумеется, и всякие нежности Виардо: в любовь светлее, легче уходишь, чем в коровью морду" (стр. 90-91).

Из письма Тургенева к Виардо от 1 мая 1848 года: ". . . и этой вечной и пустой беспредельностью, этим небом, которое только благодаря земле сине и лучезарно? . . . Ах! я не выношу неба, – но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту . . . все это я обожаю. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные блестящие капли воды, падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено, – всему тому, что херувимы (эти прославленные парящие лики) могут увидеть в небесах . . ." (И. С. Тургенев, Письма, в 13-ти томах, т. 1. Изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1961, стр. 460).

[41] И. С. Тургенев. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10-ый. ГИХЛ, М., 1962, стр. 10.

[42] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 160.

В своей речи на вечере Союза Русских Писателей и Журналистов в Париже, устроенном в память 150-летия со дня рождения И. С. Тургенева, Б. Зайцев сказал: "Конечно, был он и пессимист, и скептик, и томился по Высшему, к которому тянулся. Оно отчасти только приоткрывалось ему – в любви, поклонении женственному, женскому началу. Это и есть эрос, наджизненное в жизни".[43]

Зная о божественном происхождении любви, более того – считая даже, что видит "Божество в глазах любимой", Тургенев, тем не менее, пишет Зайцев, "ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую. Это одна из болезненных его неясностей, очень тяжелых".[44] Поистине, герой зайцевской биографии мог бы сказать о себе словами А. Блока – "Боюсь души моей двуликой".

Однако, создание Тургеневым таких образов, как Лукерья ("Живые мощи") и Лиза Калитина, может свидетельствовать о высоких его устремлениях, как и о неполной власти над ним магического. Б. Зайцев говорит:

> В этих страданиях ревности и оскорбленного самолюбия, (когда Полина Виардо предпочла ему Ари Шеффера, – А.Ш.) создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой приоткрылся ему просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастью, его не принял. Но с любимою героинею по нем шел, значит как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил.[45]

Но этот "художник-маловер", как назвал Тургенева Тхоржевский, "помолиться с Лизой в церкви не мог", – сожалеет Борис Зайцев. На эту же драму "неверующего, но религиозно настроенного духа" указывает Леонид Гроссман: ". . . он не вступил в святилище. Он навсегда остался на пороге с обнаженной головой, ищущим взглядом и безмолвными устами".[46]

---

43 Борис Зайцев. Тургенев. "Новое русское слово", Нью Йорк, 5 января 1969 г.

44 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 202.

Женщина для Тургенева носительница бессмертия, "тайна поэзии, жизни, любви". К ней обращены его молитвенные слова: "Урони в душу мою отблеск твоей вечности!" (И. С. Тургенев. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10, стр. 44).

45 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 139.

46 Леонид Гроссман. Последняя поэма Тургенева. В сб.: Венок Тургеневу. Изд. А. А. Ивасенко, Одесса, 1919, стр. 83.

Личные переживания героя биографии и его мироощущение связывает Борис Зайцев с его творчеством и созданными им художественными образами. Так, в первое свое, видимо, еще счастливое трехлетие в Куртавенеле и Париже, около Виардо, "написал Тургенев пятую часть вообще всего своего творенья – а работал сорок лет!" подчеркивает Зайцев. Однако, автор биографии тут же обращает внимание читателя на повесть "Петушков" (1847), герой которой – тихий и добродушный офицер Петушков – погибает (спивается) от любви у ног безграмотной тупой булочницы Василисы. В повести впервые показана Тургеневым "страшная сила женщины и невозможность освободиться". Борис Зайцев добавляет: "Это нисколько не похоже на блистательную певицу и классика русской литературы. Но . . . если бы находился Тургенев в восторге, пламени крепкой, надежной любви, стал бы заниматься таким Петушковым?"[47]

В свете этой безблагодатной любви-одержимости (а позднее и любви-наваждения) Тургенева к Полине Виардо толкует Зайцев многие произведения писателя, в которых доминирует тема непонятной, недоброй власти одной души над другой ("Переписка", "Дым", "Вешние воды").[48]

Какой-то выход личным горьким чувствам был, по суждению автора биографии, найден Тургеневым в повести "Ася" и в "Дворянском гнезде". "Ася" родилась в период душевного смятения и мук ревности, вызванных появлением в жизни Полины Ари Шеффера – "краснощекого лейтенанта" в повести. "Ася" насыщена поэзией, но, как пишет Борис Зайцев:

> Во всю прозрачность, остроту "поэтических" чувств введен резкий "мотивчик": рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: "я только что был поражен в сердце одной вдовой". Эта вдова "сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовала мною одному краснощекому баварскому лейтенанту". . . Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить ("краснощекий лейтенант...").[49]

47 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 81, 86-87.

48 Многолетний друг И. С. Тургенева Я. П. Полонский на вопрос И. Д. Гальперин-Каминского о причинах необычайной любви Ивана Сергеевича к Виардо ответил обстоятельным письмом, в котором были слова: "Иван Сергеевич был навсегда загипнотизирован, т. е. воля его была покорена высшей воле, одолеть которую он был не в силах..." (Цитирую по книге: И. М. Гревс. История одной любви, стр. 200).

49 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 135.

Аналогичное "сведение счетов" отмечает Зайцев и в "Дворянском гнезде".

Вся история Лавреіского и жены, изменившей ему с белокурым смазливым мальчиком лет двадцати трех – еще не остывшее личное. По напряжению, резкости, эти страницы "Асе" не уступают. "Изменница" и соперник тоже унижены (там "краснощекий лейтенант", здесь ничтожный Эрнест).[50]

Но в Лизе Калитиной (и в Тане – "Дым") нашел отражение кроткий облик Ольги Александровны Тургеневой.

Много личного – "тургеневского" находит Борис Зайцев в "Рудине":

Может быть, "Рудин" как роман и не весьма ярок, не вполне удачно построен, все же сам Рудин до того русская роковая фигура, что без нее Россия не Россия (как и Тургенев не Тургенев). Все "лишние люди", все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи пошли от Рудина, и так как Тургенев очень много своего вложил в эту фигуру (хотя и предполагал написать Бакунина), то получилось очень хорошо. Смесь донкихотства со слабостью, фразой, неудачничеством – единственна. Способность зажечь сердце девичье - и не удовлетворить его – как все это знакомо! Хорошо оказалось для литературы, что автор незадолго сам пережил роман – пустоцветный и, может быть, полный для него укоризны (роман с О.А. Тургеневой, – А. Ш.), но позволивший многое написать в любовной стороне "Рудина" по свежим следам.[51]

Создание Тургеневым таких повестей как "Фауст", "Призраки", "Собака", "Часы", "Сон" ("кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся", – говорит Зайцев[52]), "Рассказ о. Алексея", "Стук...стук...стук!", "Песнь торжествующей любви" и "Клара Милич" Б. Зайцев связывает с мироощущением их автора, с его умонастроением и усиливающимся чувством потустороннего (страшного и грозного!).

Многие критические замечания и суждения Бориса Зайцева отличаются лаконичностью и меткостью и указывают на глубокое проникновение во внутренний мир своего героя. Приведу здесь несколько примеров:

[50] Там же, стр. 139.

[51] Там же, стр. 123-124.

[52] Там же, стр. 204.

Повесть ("Песнь торжествующей любви", – А. Ш.) замечательна ощущением тягостного восточного колдовства. Нечто завораживающее есть в ней, гипнотическое. Но – торжествующей ли любви песнь? Слушая ее в тот вечер Спасского, понимала ли Савина, понимал ли Полонский и Жозефина Антоновна, что это скорее песнь неразделенной любви? Незачем прибегать ни к насилию, ни к чарам, когда тебя любят. Но если за долгую жизнь скопляется в глуби чувство томления – не оно ли толкает фантазию?[53]

"Рассказ о. Алексея" – тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти опасен (ощущением всемогущества, неотвратимости зла)...

Дух мрака, горестного уныния, знаком всякому – до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) – с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.[54]

"Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи" – не только потому, что не было веры в Бога, но также и потому, что Тургенев – герой книги Бориса Зайцева – был глубоко одинок и среди людей. Б. Зайцев показал, что в жизни его героя были друзья, искренно любившие его, но, видимо, не они были ему нужны. Были в его жизни и такие женщины (не говоря об Афродитах-Пандемос), как восторженная мечтательница, преданно любившая его – Татьяна Бакунина, ангелоподобная Лиза Калитина – Ольга Александровна Тургенева, умная и чуткая графиня Ламберт, пылкая красавица Вревская и блестящая Савина (увы – слишком поздно появившаяся в его жизни), – но его душа рвалась к "единственной на свете". Отклика же полного и благодатного, повидимому, не находила.

Вот такой "облик горький, уязвленный" увидел в Тургеневе Борис Зайцев – писатель-импрессионист. И если цель всякого художника-импрессиониста передать свое субъективное впечатление от образа и действительности и создать у читателя определенное настроение, то Борису Зайцеву в "Жизни Тургенева" это удалось. Читатель книги о Тургеневе

[53] Там же, стр. 245.

[54] Там же, стр. 204.

остается, как мне кажется, с ощущением какого-то скрытого трагизма в судьбе великого русского писателя, которому дано было так много – большой художественный талант, красота и редкое обаяние, богатство, – и лишь почему-то не было дано простого человеческого счастья да веры, к которой тщетно тянулась его душа.

* *
*

Для воссоздания образа Тургенева и эпохи, в которой прошла его славная и сложная жизнь, Б. Зайцев не прибегал к помощи вымышленных лиц. Вереницей проходят перед читателем биографии замечательные люди того времени – современники Тургенева: Плетнев, Грановский, Станкевич, Михаил Бакунин, Пушкин (хотя и мельком), Панаевы, Герцены, Тучковы, Гоголь, С. Т. Аксаков, А. А. Фет, П. В. Анненков, Некрасов, Гончаров, Лев Толстой, Достоевский, Антон Рубинштейн, Я. Полонский и др. Немногословны и выразительно-метки характеристики и психологические портреты некоторых из них. Вот –

> Павел Васильевич Анненков, один из немногих его друзей "навсегда" . . . этот благосклонный человек, осторожно прогуливающийся вблизи русской литературы. Сам он не творец, и понимает это. Но у него великая любовь к литературе. В ее пестовании его заслуга. В его любви причина того, что имя Анненкова прочно вошло в нашу словесность. [55]

А вот портрет Некрасова, данный в ярко выраженной импрессионистической манере письма:

> Некрасов – замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов, острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживший нечистую жизнь, глубокострадавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли "мерзавцем" – и автор "Власа", "Рыцаря на час"... Нет в русской литературе фигуры, более дающей облик славы и падения, возношения и презренья.[56]

---

[55] Там же, стр. 74.

[56] Там же, стр. 146-147.

В не менее блистательном окружении рисует Борис Зайцев жизнь Тургенева за границей: Жорж Занд (многолетняя и большая приятельница Полины Виардо), Меримэ, Теофиль Готье, братья Гонкуры, Золя, Додэ, Мопассан, Виктор Гюго и др. Особенно дружен был Тургенев с Флобером и с Людвигом Пичем. Он был среди них в роли как бы посла российской культуры, знакомящего их с Пушкиным, Толстым – с Россией, но – "Можно сказать при этом так: Тургенев среди них гораздо более европеец, чем они сами", – говорит Б. Зайцев.[57]

Положения, реконструированные Борисом Зайцевым в "Жизни Тургенева", можно – по их характеру – разбить на несколько групп:

а. Положения, адекватные документам.

Зайцев описывает Тургенева-пансионера (у Краузе):	Тургенев в повести "Яков Пасынков" описывает пансионеров (у Винтеркеллера):
Так же понятно, что Тургенев-пансионер, увидев после игры в лапту, во дворе под кустом сирени скромного юношу с немецкой книгой, мог не без надменности спросить: "а вы читаете по-немецки?"[58]	Однажды, в летний ясный день, проходя, после шумной игры в лапту, со двора в сад, увидел я Пасынкова, сидевшего на скамейке под высоким кустом сирени. Он читал книгу. Я взглянул мимоходом на переплет и прочитал на спинке имя Шиллера "Schiller's Werke". Я остановился. – Разве вы знаете по-немецки? – спросил я Пасынкова. . . Мне до сих пор становится совестно, когда я вспомню, сколько пренебрежения было в самом звуке моего голоса...[59]

Подобных реконструкций бытовых картин в "Жизни Тургенева" довольно много: жизнь в Спасском во времена материнского владычества – по воспоминаниям В. Н. Житовой, жизнь И. С. Тургенева в Париже, зимой 1848 года, встречи с Герценами и Тучковыми – по воспоминаниям Н. А. Огаревой-Тучковой, жизнь Тургенева в Париже в дни революции – по

[57] Там же, стр. 198.

[58] Там же, стр. 17-18.

[59] И. С. Тургенев. Собрание сочинений, том шестой, стр. 93.

его собственным воспоминаниям ("Человек в серых очках", "Наши послали!") и письмам, ссора Тургенева с Толстым – по воспоминаниям А. А. Фета и т. д.

б. Положения – компиляция нескольких документов.

Как пример, приведу здесь один из абзацев текста, описывающего жизнь Тургенева в его последнее лето в Куртавенеле. Этот абзац построен Б. Зайцевым на материале четырех писем, написанных Тургеневым в разное время Полине Виардо, гастролировавшей в это время в Лондоне.

Текст из "Жизни Тургенева":	Отрывки из писем Тургенева:
В промежутках: деревенские гости (всегдашние разговоры о сельском хозяйстве), ужение рыбы, катание в лодке по каналам. Сам очищает эти каналы от камышей, засоряющих их. Забавляется кроликами – на последний франк покупает их у крестьянина, кормит молоком, листьями латука. И все ходит, все смотрит, высматривает природу, хоть и галльскую, не орловскую, а и здесь он любит – и трепет листвы в тополях, и цвет отдельных листиков на розовом небе, и какую-то березу в Мезонфлере, которую он назвал Гретхен. И дуб – имя ему дал: "Гомер".[60]	Сегодня мы отправляемся с г-ном Сичесом удить линей в Мезонфлер . . . Мы возвращаемся с рыбной ловли с пятьюдесятью линями.[61] Я пять раз обвез (на лодке, – А. Ш.) г-на и г-жу Сичес кругом по рвам; потом я катал Султана (пес Полины, – А. Ш.) А завтра великое истребление камышей.[62] Нет более тростников! Ваши каналы вычищены . . . Мы работали как негры в продолжении двух дней. . .[63] Это три крошечных зайчонка, которых я купил у одного крестьянина. Чтоб приобрести их я отдал мой последний франк! . . . Они уже начинают пощипывать листья латука . . . но главная их пища – молоко.[64] . . . неподвижный тополь имеет всегда вид школярский и весьма глупый, разве только кроме вечера, на розовом фоне неба, ког-

[60] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 95.

[61] Письмо от 12 июля 1849 года (И. С. Тургенев. Письма, т. 1-ый. Изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1961, стр. 474).

[62] Письмо от 14 июля 1849 года. (Там же, стр. 476-477).

[63] Письмо от 19 июня 1849 г. (Там же, стр. 478).
Письмо, вероятно, было написано 19 июля, а не июня, но в тексте публикации стоит 19 июня.

[64] Письмо от 11 августа 1849 г. (Там же, стр. 491).

да листья кажутся почти черными. . . но в таком случае все должно быть тихо, только листьям на верхушках деревьев разрешается чуть-чуть шевелиться . . .

В Мезонфлере есть береза, которая очень похожа на Гретхен; один дуб окрещен Гомером...[65]

в. Положения "творчески домысленного" характера.

В некоторых случаях документальный материал как-бы расширяется и получает обобщающее значение. Так, например, на основании письма Тургенева к Полине Виардо, описывающего только один день – 18 июня 1849 года – в жизни обитателей Куртавенеля, Борис Зайцев реконструирует повседневную картину пребывания своего героя в имении Виардо.

Б. Зайцев в "Жизни Тургенева":	Письмо Тургенева от 19 июня 1849 г.:
Нет в этой куртавенельской его жизни событий, но она замечательна. Деревня, свобода, мечтательность, творчество... – удивительно все перемешано. Спит Тургенев до десяти часов, завтракает, играет с веселым Ситчесом на биллиарде, потом у себя в кабинете в течение часа ищет сюжет, читает по-испански, пишет полстраницы... А там обед, прогулка одинокая, прогулка с Ситчесами, и уже опять устал: спит до девяти вечера... Но сколько успевает и сработать![66]	. . . Они поручили мне дать вам отчет о вчерашнем дне (разрядка моя, – А.Ш.) Вот этот отчет: После вашего отъезда все отправились спать и спали до десяти часов; затем встали, довольно молчаливо позавтракали, поиграли не спеша на биллиарде, затем принялись за дело: . . . а я в маленьком кабинете стал обдумывать известный вам сюжет. Я размышлял в продолжение часа, затем читал по-испански, затем написал полстраницы на этот сюжет . . . потом я отправился гулять один, а по моем возвращении все общество (вместе со мною) отправилось гулять до обеда, . . . правда, я проспал до девяти часов, вследствие усталости, вызванной моими двумя прогулками . . . [67]

---

[65] Письмо от 14 июля 1849 г. (Там же, стр. 476).

[66] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 94-95.

[67] Из письма И. С. Тургенева от 19 июня 1849 года (И. С. Тургенев. Письма, том первый, стр. 471).

Положения творчески "домысленного" характера чаще всего, однако, представляют собой природную обстановку, пейзаж. Б. Зайцеву, например, точно неизвестно, когда возник у Тургенева возвышенно-поэтический роман с Татьяной Бакуниной. Познакомился же он с ней, видимо, в конце 1840 года, а в июне 1841 года гостил в имении Бакуниных – Премухине. О природе и атмосфере Премухина автор знает: "Барская жизнь того времени оставила нам хорошие архивы. Через сто лет многое можно прочесть из переписки энтузиасток (девицы Бакунины, – А. Ш.) с братом, между собою и с другими".[68] Документы в данном случае служат художнику-автору биографии Тургенева как бы отправной точкой для его творческой реконструкции, и он пишет:

Но трудно представить себе июньские дни 1841 года вне завязки романа. Слишком все подходяще.

В Премухине был дом с колоннами у балкона, увитым хмелем. С боков кусты сирени, жасмина, почти заглядывавшие в окна. Перед балконом цветники. Конечно, парк. Замечательная церковь, екатерининских времен, классического стиля. Извилистая Осуга, луга, поля и перелески. Вся прелесть русского июня предстала в это его посещение. Еще соловьи не отошли. Кукушки кукуют, ночи коротки и звезд мало, это не звездный август. Зато чудесно благоухают луга, полные звоночников, медвяной "зари", всяких кашек, цикориев. Скоро покос. Нежны июньские вечера. Ливни сияют сквозь солнце и радугу. Молодые ржи наливаются – колос еще сизо-молочный, и как пахнут они после дождя![69]

"Прелесть русского июня" захватила воображение и самого автора биографии, и вылилась в импрессионистическо-лирический пейзаж. Авторское продление документальных источников продолжается (реконструкция, правда, подчеркивается авторским – "К т о з н а е т"):

Кто знает, о чем и как говорили Тургенев с Татьяной на балконе, или в беседке, под дубами Премухина. Были сладкие и нежные минуты в обрамлении типического "тургеневского" романа. Именно так, как впоследствии будет в его повестях. Тургенев играл как бы собственную пьесу. На прогулках по рощам и в ночной тьме на балконе, после

---

[68] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 48.
[69] Там же, стр. 49.

сыгранного в зале Бетховена, при бледных звездах говорилось, разумеется, не мало романтических заоблачностей.[70]

Хочется привести еще два примера этого характерного для Зайцева-импрессиониста приема творческого воссоздания бытовых картин и образов героев. В первом случае – это картина первого заграничного периода жизни Тургенева вблизи Виардо, в более счастливую пору его к ней любви. Начинает Б. Зайцев с описания имения семьи Виардо – Куртавенеля, в котором, начиная с 1847 года, влюбленный Тургенев провел три лета. Подобное же описание этого имения можно найти, например, и в книге И. М. Гревса "История одной любви" (стр. 59-60) и у Н. М. Гутьяра в его книге "Иван Сергеевич Тургенев" (стр. 170), но следующего продолжения не найти ни у того, ни у другого:

А вокруг мягкий, разнообразный пейзаж средней Франции, не поражающий, но уютный и благородный. Большая прелесть заключалась для Тургенева в Куртавенеле. Очень это ему подходило. Самый воздух Иль де Франса, голубая дымка полей – именно для него. И как хорошо, что жил он в комнате с зелеными обоями. Ветер нес ему запах сирени, лугов, полей. Шмель гудел где-нибудь в занавеске. На столе деревенские цветы. По обоям кружочками солнце сквозь каштаны – может быть, не зря многоразумная Полина выбрала для него такую комнату – тут писал он голубоватые "Записки Охотника". Прохладно, нежно здесь. Да и не только в доме. Изящество, любовь разлиты и по парку, и по цветникам, каналам: все это мир Полины и Тургенева. Что-то напоминающее "Месяц в деревне". Видятся медленные, несколько в а ж н ы е их прогулки, шляпы с лентами Виардо, букли над ушами, летние плятья в талию с воланами, чинная и благоговейная галантность Тургенева. Где-то на горизонте и Луи Виардо – но только на горизонте. Может быть, он иногда уезжает в Париж, или часами удит рыбу в канале. Не до него, не до него![71]

---

[70] Там же, стр. 49-50.

[71] Там же, стр. 77-78.

Между прочим, в письме к Виардо от 12 июля 1849 г. Тургенев пишет: " . . . я все-таки очень доволен тем, что нахожусь в Куртавенеле, обои цвета зеленой ивы в моей комнате радуют мой взор . . ." (И. С. Тургенев. Письма, том первый, стр. 474).

Б. Зайцев неоднократно применяет к "Запискам охотника" эпитет – голубоватые, т. е. поэтические. Вот высказывание Б. Зайцева о "Записках охотника": "Записки Охотника" поэзия, а не политика. Пусть из поэзии делаются жизненные выводы, поэзия остается сама по себе над всем. От крепостного права следа не осталось. Художество маленьких тургеневских очерков не потускнело" (Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 80-81).

Эта воображаемая, очень поэтическая картина постепенно приводит автора биографии к уверенности –

> Я в н о (разрядка моя, – А. Ш.), что рояль звучал в замке, и немало Полина пела – навсегда запевала в свою власть северного медведя. Ее сердце приоткрывалось ему...[72]

В не менее ярко выраженной импрессионистической манере рисует Борис Зайцев прогулки Тургенева по Тюильрийскому саду. И снова автор как бы отталкивается от документального источника – письмо Тургенева к Полине Виардо от 14 декабря 1847 года.

> Любил Тюильрийский сад. Любил веселых, скакавших там детей, зарумяненных морозцем, важных нянек, краснеющее сквозь каштаны закатное солнце, гладь и спокойствие вод в бассейнах, серую громаду Дворца.
>
> . . . .
>
> Ясно видишь его высокую фигуру, с палкой, вот прогуливается он в одиночестве по террасе – за рекой дымно-розовеют облака, ползут по воде баржи. В вечереющем небе сквозь тонкие и голые ветви каштанов сухо, изящно вздымается купол со шпилем Инвалидов, темнеет благородный фасад Бурбонского дворца.[73]

Много в "Жизни Тургенева" жанровых зарисовок, но, как мне кажется, они не являются у Бориса Зайцева нарочитым приемом беллетризации, а скорее – результатом вживания в документ, проникновения во внутренний мир своих героев и, наконец, результатом личного опыта и воспоминаний. Кроме того, пейзаж является основным компонентом поэтики импрессионистов. Так, вся жизнь Тургенева протекает на страницах зайцевской книги в обрамлении пейзажных зарисовок. Я приведу здесь только несколько примеров. Вот спасский парк с его пернатым населением, которое Тургенев полюбил с раннего детства:

> Мало ли всяких иволог, кукушек, горлинок, малиновок, дроздов, удодов, соловьев, коноплянок жило в спасском приволье? В дуплистых липах гнездились скворцы – на дорожках аллей, среди нежной гусиной травки валялись весною пестрые скорлупки их яичек. Вокруг дома – реющая сеть ласточек. В глухих местах парка сороки. Где-нибудь на дубу тяжкий ворон. Над прудом трясогузки –

---

[72] Там же, стр. 78.

[73] Там же, стр. 82-83.

Письмо от 14 декабря 1847 года (И. С. Тургенев. Письма, том первый, стр. 447).

перелетывают, или попрыгивают по тенистому бережку, качают длинными своими хвостиками. В зной – тишина, белая зеркальность вод, цветенье лип, пчелы, смутный, неумолчный гуд в парке полутемном.[74]

Вот картина встречи и любовного свидания юного Тургенева с первой в его жизни Афродитой-Пандемос:

Полный сил юноша бродил однажды в сыроватый весенний день в парке. Близились сумерки. Дрозды перепархивали в яблонях. Иволга заливалась. Березы спасской рощи были в зеленом, клейком пуху. Афродита предстала ему . . . .

А вечером, в непроглядную темень, он крался к ней на свидание, в пустую, заброшенную хату. Перелезал через канавы, падал в крапиву, пробирался по меже с горькою серебряной полынью, под теплым накрапывавшим дождиком, от которого так зеленеют всходы. Сова кричала в парке.[75]

Это, конечно, не столько фактическое описание, сколько создание настроения: в такой весенний вечер и не могло быть иначе. Б. Зайцев тут же добавляет: "Может быть, и Сергей Николаевич (Тургенев-старший, – А. Ш.) отдавался той же ночью зову любви".[76]

Под аккомпанемент импрессионистическо-лирического пейзажа оживает в "Жизни Тургенева" последняя влюбленность героя биографии:

Полтора часа провели они (Тургенев и Савина, – А. Ш.) в поезде, проносившемся по полям черноземным, при раскрытом окне, откуда тянуло по временам сыростью с болот и туманных речек, запахом колосящейся ржи. Может быть, мальчишки стерегли где-нибудь у костра спутанных лошадей, близ насыпи. Да и сам "Бежин луг" не так далек. Деревушки уже темны. Только искры летят. Да звезды мигают.

. . . .

Сад цветет, май открывается полной своей душой. Тепло, благодать. Вечером соловьи.

. . . уж тоненький месяц появился над лохматой крышей сенного сарая, сыростью с пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи, на лужайке. А в столовой шипит самовар. (Июльский вечер в России, светлый, благоуханный!)[77]

---

[74] Борис Зайцев, Жизнь Тургенева, стр. 12.

[75] Там же, стр. 19.

[76] Там же, стр. 19-20.

[77] Там же, стр. 240, 243.

Заключая только последнюю фразу из фактически всего от-авторского пейзажа и оканчивая ее восклицательным знаком, биограф как бы показывает этим, что он на какое-то мгновение отступает от своей темы, дает выход нахлынувшим на него личным воспоминаниям и эмоциям. За восклицательным знаком чувствуется авторский вздох: Господи, как же там было хорошо! И как все это теперь далеко, далеко!

В "Жизни Тургенева" не много воспроизведений прямой речи и диалогов. В большинстве случаев они представляют собой раскавыченный текст документальных материалов. Например, следующий короткий диалог между Варварой Петровной и ее "министром" полностью совпадает со словами воспоминаний Н. В. Житовой.

Борис Зайцев в "Жизни Тургенева":	В воспоминаниях Н. В. Житовой:
– Это что за звон? – Праздник, сударыня, святая неделя. – Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня у меня на душе святая неделя. Я больна, огорчена, эти колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать.[78]	– Что это за звон? – спросила барыня . . . – Праздник, сударыня, Святая неделя, – был робкий ответ. – Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе Святая неделя. Я больна, огорчена, колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать! – уже совсем гневно докончила Варвара Петровна.[79]

Диалог ссоры Тургенева со Львом Толстым взят, очевидно, из воспоминаний А. А. Фета. Но введенные в диалог замечания относительно душевного состояния спорящих – от автора биографии.

Борис Зайцев в "Жизни Тургенева":	Воспоминания А. А. Фета:
Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу	Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя

[78] Там же, стр. 101.

[79] В. Н. Житова. Воспоминания о семье Тургенева, стр. 577 - 578.

Иннис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.

Толстой сразу рассердился.

– И вы считаете это хорошим?

– Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.

В Толстом именно в эту минуту, в свеже-срубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику.

– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь – это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.

Дальше все поразительно – для Тургенева, мягкого, светски-воспитанного почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).

После возгласа:

– Я прошу вас об этом не говорить!

И ответа Толстого:

спросила его, доволен ли он своею английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. "Теперь, – сказал Тургенев, – англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности".

– И это вы считаете хорошим? – спросил Толстой.

– Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

– Я вас прошу этого не говорить! – воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, – отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу "перестаньте!", как, бледный от злобы, он сказал: "Так я вас заставлю молчать оскорблением".[80]

---

80 А. А. Фет. Мои воспоминания. В сб.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников в 2-х томах, ГИХЛ, М., 1960, т. 1-ый, стр. 82.

– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден! – Тургенев в полном бешенстве крикнул – не дворецкому, а будущему "великому писателю земли русской":

– Так я вас заставлю молчать оскорблением![81]

В очень редких случаях наблюдаются незначительные расхождения приводимых Зайцевым слов с текстом оригинального документа. Вот Варвара Петровна, мечтая о возвращении из-за границы любимого сына, выращивает для него в оранжереях редкие фрукты –

В "Жизни Тургенева":	В воспоминаниях В. Н. Житовой:
– Ваничка очень любит фрукты. Он будет есть их с деревьев, а я из окошка полюбуюсь на него.[82]	– Ваничка ужасно всякие фрукты любит, а я из окошка буду любоваться, как он их кушает.[83]

Или же –

В "Жизни Тургенева":	В воспоминаниях В. Н. Житовой:
– Ну, благодарите меня![84]	– Что-же, благодарите меня![85]

Есть в "Жизни Тургенева" также от-авторские диалоги и прямая речь. Например, беседы Тургенева с молодым народником (стр. 214) и с поклонницами его таланта (стр. 215). "Как будто правдоподобно, – писал мне об этой главе ("Буживаль") В. К. Зайцев 17 февраля 1969 года. – Что-то в этом роде бывало у него (Тургенева, – А. Ш.), конечно. А там. . . – Бог знает. Давнишнее дело. Думаю все-же (перечитал теперь), что к облику Тургенева подходит. Слова старой испанки (Полины Виардо, стр. 216 - 217 – А. Ш.) тоже "воображаемы".

Внутренних монологов в биографии Тургенева нет. Их заменяют цитаты из переписки героев. Вот, например, отрывок из письма Тургенева к графине Ламберт:

81 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 156-157.

82 Там же, стр. 102.

83 В. Н. Житова. Воспоминания о семье Тургенева, стр. 591.

84 Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 106.

85 В. Н. Житова. Воспоминания о семье Тургенева, стр. 617.

"Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но расставшись с ним, я увидел, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания" (декабрь 1879).[86]

Затрагивая вопрос творческого метода воссоздания "литературных корифеев прошлого", Л. Д. Ржевский в своей статье о творчестве Бориса Зайцева пишет:

У Зайцева же всюду подчеркнута реконструкция. Рядом примеров акцентируется модальность суждения и экспозиции, иной раз и с непосредственным разоблачением повествовательного "я".[87]

Часто "модальность суждения и экспозиции" выражается в "Жизни Тургенева" от-авторским вопросом и приводимым тут же ответом: "Была ли она (графиня Ламберт, – А. Ш.) красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой, довольной? Бесспорно нет".

Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы.[88]

Таких вопросов-ответов в книге о Тургеневе около двадцати. Много больше вопросов, оставленных автором без ответа (приблизительно 65), например:

Но что-то начало удалять их (Тургенева и Виардо, – А. Ш.) друг от друга. (Не освобождая вполне.) Сказал ли он ей о себе? Дошли ли до нее вести об Ольге Александровне? Почувствовал ли он в ее жизни нечто иное?

В некоторых случаях вопросы эти наводящие и ответ легко угадывается:

Тургенев живет на западе, в Россию только наезжает. Шаблон готов. Старый, немодный писатель, оторвавшийся и от эпохи, и от родины. Что может дать он? (Разрядка моя, – А. Ш.)[89]

---

[86] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 154.

[87] Л. Ржевский. Тема о непреходящем. "Мосты", №7, Мюнхен, 1961, стр. 40.

[88] Борис Зайцев. Жизнь Тургенева, стр. 150, 131.

[89] Там же, стр. 128, 218.

Для выражения степени достоверности суждения Борис Зайцев широко пользуется модальными словами и выражениями. Может быть употреблено в "Жизни Тургенева" 55 раз, быть может – 18 раз, вряд-ли – 17 раз, вероятно – 17 раз, будто бы, как-будто, будто, как будто-бы – 11 раз, видимо и повидимому – 18 раз, разумеется – 36 раз, очевидно – 10 раз, конечно – 51 раз, наверно – 5 раз, кажется и казалось бы – 6 раз, возможно – 5 раз, пожалуй – 7 раз, неизвестно, думаю, не знаю, будем считать, можно себе представить, может случиться, кто знает, нет сомнения – 14 раз.

Но где Виардо? Может быть, уже в Куртавенеле, может быть, и в Париже... при Тургеневе ее не видно. Возможно, она его навещала (только следа от этого не осталось!), но если и не навещала, не надо этому удивляться. Пожалуй, даже больше подходит, чтобы не навещала.

Возможно, Полина ленилась. Да и не так еще прочно вошел он в ее жизнь, но может быть и муж делал попытки (безнадежные) сопротивления.

Не знаю, как Виардо отнеслась ко "Сну". При своем трезвом и "благоразумном" настроении вряд-ли одобрила.[90]

Автор биографии также широко пользуется вставочными словами, сочетаниями и целыми предложениями, заключенными в скобки. Всего я насчитала около 338 таких вставочных слов, сочетаний и предложений. По характеру высказываемого автором сообщения их можно было бы разбить на несколько основных категорий:

а. Многочисленные от-авторские сообщения, уточняющие, поясняющие, дополняющие или же акцентирующие предыдущее высказывание:

С Бакуниным он встречался (после Берлина) еще в 47 году.

Бакунин был уже не тем, что в Берлине (т. е. темперамент тот же, но иное устремление) – он кинулся очертя голову на рожон.

Но главное направление (лишь дружеское), все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая "одну даму" в Швальбах,

[90] Там же, стр. 94, 65, 206 (разрядка моя, – А. Ш.).

заехал в Висбаден. Дама эта писательница Марко-Вовчок. С нею он тоже, конечно, немало разговаривал и читал).[91]

б. Высказывания, указывающие на авторское отношение к сообщаемым биографическим фактам:

Но самое главное – и об этом подробно отпишет он (Тургенев, – А. Ш.) Полине в тот же день – видел он Антона Рубинштейна. Не только видел, но Антон Рубинштейн успел (не для Виардо же, в самом деле) сыграть все пятнадцать романсов Полины на слова русских поэтов, успел одобрить их, и многие его "поразили"(слава этих романсов так и погребена в письмах Тургенева).[92]

в. Вставочные сообщения – от-авторское продление мысли или додумывание:

За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей (Савиной, – А. Ш.) немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду.) Вот например: "Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, что я тогда перечувствовала!" (Может быть, и плакал Тургенев, читая это...).[93]

г. Вставки, подчеркивающие эмоционально-экспрессивные оттенки: "Так проиграла (а вернее выиграла!) свою жизнь Вревская". Иногда это только одно слово, но как много оно говорит:

И вот, на сорок шестом году жизни, этот "старик" (Тургенев, – А. Ш.), которому трудно доехать в первом классе от Бадена до Петербурга и остановиться в хорошем отеле у Полицейского моста – он то и пронизан (вновь!) чистейшим, возвышеннейшим Эросом.[94]

Такое частое введение вставочных сообщений, заключенных в скобки, способствует собранности повествования. Язык биографии отличается простотой, сжатостью и точностью. Иногда речь Бориса Зайцева состоит из ряда кратких предложений, как бы мазков, в чем сказывается, видимо, импрессионистическая манера его письма. В нижеприведенных двух небольших абзацах Б. Зайцев рассказал всю печальную историю взаимоотношений отца и дочери:

[91] Там же, стр. 89, 88, 154.

[92] Там же, стр. 169.

[93] Там же, стр. 254.

[94] Там же, стр. 209-210, 167.

Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от "рабыни", девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток – все это считал "долгом": так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешни, ничем не согреты. А потому бесполезны.

. . . .

Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева – в этом грехе он держался безупречно... но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.[95]

Вот другой пример зайцевского письма, в котором изобилуют эпитеты импрессионистического характера – простые и составные:

И все-таки "Дым" замечательный роман, двусторонний, двухстворчатый, неудачно-удачный, окрыляюще-пригнетающий. Отразил он создателя своего, двуликого Януса. В воздухе "Дыма", в душевном настроении: "все дым", все белые клочья, летящие из трубы паровоза, безвестно развевающиеся – жил одной стороной своей баденский Тургенев. Как связать это с высочайшими, нежнейшими чувствами к Виардо?[96]

Таким образом, особенности поэтики Бориса Зайцева – писателя внутреннего лиризма и импрессиониста – сказались не только в вúдении и толковании образа Тургенева, но также в приемах его мастерства как биографа: в портретных и жанровых зарисовках, в воссоздании бытовых картин и, наконец, в его языке и стиле. Всего на 259 страницах небольшого формата воспроизвел Борис Зайцев долгий и сложный жизненный путь И. С. Тургенева. Если творческий замысел каждого биографа-художника – оживить образ избранного им героя, то Борису Зайцеву в книге о Тургеневе это вполне удалось.

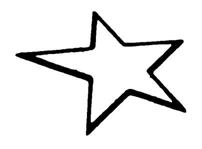
"Жизнь Тургенева" – художественное повествование о "жизни сердца" великого русского писателя в переплетении с рассказом о его творческом пути, о восхождении к славе и признанию не только у себя на родине, но и за границей, о расхождении Тургенева – либерала и западника – с революционно-настроенной молодежью. Отмечены Б. Зайцевым

---

[95] Там же, стр. 155-156.

[96] Там же, стр. 180.

главнейшие события эпохи – освобождение крестьян, французская революция, франко-прусская война, русско-турецкая война, – но только как фон, на котором центральная фигура– Тургенев. Не эпоха позволила ему подняться "как герою в полном смысле слова историческому", а он сделал честь эпохе тем, что жил, любил и страдал, творил – "утренняя звезда литературы нашей".[97]



[97] Борис Зайцев. Тургенев. "Новое русское слово", Нью Йорк, 5 января 1969 г.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

"ЖУКОВСКИЙ"

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был, хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.

Ф. И. Тютчев

Не сразу пришла Б. К. Зайцеву мысль написать биографию В. А. Жуковского. Постепенно завладевал им тихий, нешумный поэт. 4 февраля 1942 года, в тяжелое время второй мировой войны, сделал Зайцев запись:

> Перечитываю Жуковского. Милый поэт.
> "Ты живешь в сияньи дня,
> "Ты живешь не для меня..."
> Голос тихий, иногда сладостный; простодушный, но мудрый. Жизнь, пронизанная печалью, но и примирением. Вот кто настоящий "поэт покорности и примирения" (так называли некогда одного молодого, а теперь старого писателя).[1]

Но уже запись, сделанная Б. К. Зайцевым через три года – 10 марта 1945 года, – свидетельствует о том, что прежде лишь смутное желание–"вот о ком бы написать!"–выросло теперь в твердое намерение:

> Милый Жуковский! Дышал и дышу им, жизнью его и творением, жизнями близких ему. От всего этого – свет и поэзия, то, что нужно, без чего тяжко жить.
> ....
> Занял меня всего так, что теперь нет свободного угла. Его читаю, о нем читаю, о нем думаю. Собственно живу с ним. О нем и писать собираюсь. Если даст Бог сил, будет книга.[2]

---

[1] Бор. Зайцев. Дни. "Возрождение", тетрадь десятая, Париж, июль-август, 1950, стр. 75.

"Поэтом покорности и примирения" называли Б. К. Зайцева – "Некогда молодой, а теперь старый" – я, конечно. (А сейчас даже **очень** старый), – писал мне 2 декабря 1967 года из Парижа Б. Зайцев.

[2] Борис Зайцев. Дни. "Опыты", № 1, Нью Йорк, 1953, стр. 159.

Может быть, потому именно Жуковский особенно привлекал Б. К. Зайцева, что в облике поэта увидел он черты, близкие ему самому – это скромность и смирение, незлобивость и благоволение к людям, а главное – покорность воле Божией и примирение. "Уметь во всякое время во всех обстоятельствах жизни произносить смиренно: да будет Твоя воля, есть верховная наука жизни", – писал Жуковский.[3] А Борис Зайцев в одном из своих рассказов говорит:

> Тишина, свет, и Господь присутствует в своем творении, и все хорошо, все как надо. Жизнь, смерть, все правильно. Пожелтел лист, падает он к моим ногам с дерева. Уходит человек днями насыщенный, мы направляем к нему благодарную память, память привета.[4]

И для Жуковского и для Бориса Зайцева жизнь человеческая – странствие, а люди – путники, следующие за своим Божественным Водителем. В. А. Жуковский писал: "Здесь мы не иное что, как путешественники по земле Провидения. Оно с заботливою попечительностью окружает нас житейскими встречами. Добро и зло, великое и малое, все есть его посланники, есть испытатель и следовательно совершенствователь души нашей".[5] Для Зайцева – "Не есть ли жизнь ряд путешествий, укладываний и раскладываний, отъездов, приездов, меж которыми и стелется ткань ее", ткань жизни, наполненной, по воле Божией, и радостью и горем, но все "для твоей же пользы".[6]

Наконец, В. А. Жуковский, раскрывший в стихах интимную жизнь своего сердца и даже в чужом дававший "не только свое, но и всего себя",[7] близок поэту прозы – Борису Зайцеву своим лиризмом.

---

[3] В. А. Жуковский. Рассуждения и размышления. В кн.: В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений под ред. П. Н. Краснова. Изд. Т-во М.О. Вольф, С.-Петербург-Москва, 1833, стр. 1040.

[4] Борис Зайцев. Гофмейстер. "Русские записки", XVII, Париж, май, 1939, стр. 9.

[5] В. А. Жуковский. Наброски мыслей. В кн.: В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений под ред. П. Н. Краснова, стр. 1035.

[6] Борис Зайцев. Тишина. Изд. "Возрождение", Париж, 1948, стр. 14.

Борис Зайцев. Вандейский эпилог. В сб.: В пути. Изд. "Возрождение", Париж, 1951, стр. 208.

7 А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения". Типография Императорской Академии Наук, С.-Петербург, 1904, стр. 504.

Вероятно, в силу этого духовного родства Борис Зайцев в подходе к жизнеописанию В. А. Жуковского не пошел по следам уже существовавших биографий и исследований жизни и творчества поэта, как "певца во стане русских воинов", сентиментального романтика и балладника, созданного эпохой и литературной модой. Признавая как в самой личности Жуковского, так и в его поэзии черты от "духа времени", Б. Зайцев, тем не менее, увидел обусловленность творчества Жуковского его постоянным ощущением трансцендентальности бытия и устремлением его души горé.

Обычно во всех биографиях и биографических очерках (написанных до и после появления книги Зайцева) отмечаются высокие душевные и нравственные качества поэта. Известны также восторженные отзывы о нем его современников. Приведу здесь слова "победившего ученика" о своем "побежденном учителе": "Письмо Жуковского, наконец, я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он – святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!"[8]

Даже такой человек, как Воейков – злобный и недоброжелательный, – писал о Жуковском только что познакомившемуся с последним Кюхельбекеру:

> Поздравляю вас с таким другом и братом, как наш Жуковский; проживя с ним полвека, видя его в разных обстоятельствах, – в счастии и несчастии, в горе и в радости, в болезни и в цветущем здоровье, я не могу, клянусь вам, решить, что больше, что превосходнее, что удивительнее в нем – необыкновенное ли его дарование или необыкновенный его характер. Я видел, с какою готовностью жертвует он самыми драгоценными для своего сердца благами счастью других, с каким христианским терпением переносит несчастья, под которыми бы упал всякий человек, меньше его уверенный в бессмертии души и в том, что тайная рука Провидения всегда ведет нас к счастью, часто по терниям и кремням, но все к счастью. Знаю только, что живучи с Жуковским, сам непременно становишься лучше, выше, добрее.[9]

8 Из письма А. С. Пушкина, отправленного из села Михайловского в начале апреля 1825 года брату Л.С. Пушкину – А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 3-х томах, т. III. Изд. Акционерного Об-ва Издательского Дела "Копейка", Петроград, 1914, стр. 205.

9 Цитирую по кн.: А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 215.

В своей книге о Жуковском Борис Зайцев не оставляет в стороне ни заслуг поэта перед русской литературой, ни его высоких личных качеств. Основным же стержнем биографии, однако, является образ Жуковского – поэта и странника в этом мире, цель жизненного (да и творческого!) пути которого – нравственное самосовершенствование, искание и обретение веры в Бога. Поэтому книга Бориса Зайцева о Жуковском написана как бы в двух планах. Один план – внешний, рисующий Жуковского-поэта, "певца во стане русских воинов," автора произведений хрестоматийного характера, Жуковского-арзамасца, редактора "Вестника Европы", чтеца при императрице Марии Феодоровне, учителя великой княгини Александры Феодоровны, воспитателя наследника – будущего Александра II. Другой план – план внутренней темы. В нем Борис Зайцев показывает Жуковского-поэта, эстетика которого теснейшим образом соединялась с его этикой, сказавшего "Поэзия есть Бог в святых мечтах земли", поэта и человека, претворявшего в жизнь слова – "Кто возвышает душу свою, тот сближается с Богом".[10] Этой второй теме, как наиболее автору близкой, уделяется Борисом Зайцевым особое внимание, и она фактически становится доминирующим мотивом зайцевского жизнеописания Жуковского.

В основу биографии "Жуковский" положены: книга д-ра К. К. Зейдлица – многолетнего друга самого Жуковского и сестер Марии и Александры Протасовых (в замужестве Мойер и Воейковой) – "Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783-1852", произведения и переписка поэта с родными и друзьями, воспоминания современников. Исследование источников указывает также, что автору биографии были знакомы книги А. Н. Веселовского "В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения" и П. Загарина "В. А. Жуковский и его произведения".

Несколько шире, чем в "Жизни Тургенева", Борис Зайцев в книге о Жуковском пользуется цитацией документального материала, указывая иногда источники в самом тексте биографии. Как и в "Жизни Тургенева", сносок библиографического характера в "Жуковском" нет. Из произведений

---

[10] В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений, стр. 1036.

поэта цитируются, и иногда очень кратко анализируются, главным образом, те, которые органически связаны с духовным миром самого поэта, с его миросозерцанием и могут поэтому акцентировать внутреннюю тему зайцевского повествования.

Если в воссоздании образа Тургенева в авторе, прежде всего, сказался художник-импрессионист, то еще в большей мере его импрессионистический медод выразился в жизнеописании Жуковского.

Как и "Жизнь Тургенева", начинает Борис Зайцев свою летопись жизни Жуковского с описания тех мест, где родился и вырос будущий первый русский лирик – "певец любви, певец своей печали".

> Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги – светлая душа страны.
> ....
> Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии – те места подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла (разрядка моя, – А. Ш.).[11]

Так с первых же строк своей книги импрессионист Б. Зайцев передает "впечатление": скромность, свет и гармония описываемых мест как бы определяют и образ избранного им героя биографии. "Под благословением Оки начал свою жизнь мальчик Жуковский, . . . светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его (Василий – по-греч. "царь", – А. Ш.) имел характер мирный и возвышенный".[12]

Бегло рисует Борис Зайцев внешний портрет своего героя, акцентируя черты, которые являются как бы отражением его духовного облика: миловидность в детстве и юности и до старости "прекрасные, добрые, задумчивые глаза".[13]

---

[11] Борис Зайцев. Жуковский. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1951, стр. 5.

[12] Там же, стр. 10 (разрядка моя, – А. Ш.).

[13] Там же, стр. 10, 23, 77, 183, 231.

Видимо, внешний облик Жуковского, действительно, в

Подчеркивает он и те факты биографии Жуковского, которые с раннего детства определяют его особый путь, как поэта и человека, откликнувшегося на "давний, великий зов" – "Наипаче ищите Царствия Божия".

В подборе этих биографических фактов и их оттенении Борис Зайцев, как художник-импрессионист, умело создает то настроение, которое дало некоторым критикам основание сказать, что книга о Жуковском написана как житие.[14]

Так, описывая младенческие и детские годы в доме Марьи Григорьевны Буниной, принявшей "Васеньку" в число своих детей, автор подчеркивает атмосферу благочестия, царившую в этом доме. Сама М. Г. Бунина благочестива и детей своих вела "в религиозном духе и в духе литературной образованности". Храм же, куда восьмилетний мальчик Жуковский ходит с Марьей Григорьевной на ежедневные заупокойные службы (после смерти отца – А. И. Бунина), становится, как пишет Б. Зайцев, "пристанищем души его".

Этот храм – первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щеки. Аня достать не могла – он ее подымал и прикладывал.[15]

какой-то мере отражал его прекрасную душу – вот как описал поэта И. С. Тургенев: ". . . тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета" (Цитирую по кн.: Н. Богословский. Тургенев, стр. 32).

[14] Екатерина Таубер. В пути находящиеся. "Грани", № 33, Франкфурт на Майне, январь-март, 1957, стр. 163.

Федор Степун в книге "Встречи" (Изд. "Товарищество Зарубежных Писателей", 1962, стр. 131) пишет: "Тхоржевский в "Истории русской литературы" упрекает Зайцева в том, что он в своей "мастерской книге" о Жуковском стилизует поэта под святого". В "Истории русской литературы" Тхоржевского, вышедшей вторым изданием в 1950 году, т. е. до появления книги Б. Зайцева, этого высказывания нет. Однако, Федор Степун – серьезный, заслуживающий доверия критик: может быть, Тхоржевский сделал такое замечание при личной встрече с Ф. Степуном.

[15] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 15.

Аня Юшкова – впоследствии известная в то время писательница А. П. Зонтаг – племянница Жуковского по отцу (всего

Однако, решаюшая и важнейшая роль в формировании духовного склада Жуковского (как и в укреплении и развитии в нем склонности к литературе) принадлежит Университетскому Благородному Пансиону, на словесное отделение которого он поступил в 1797 году и который блестяще окончил в 1801 году. Здесь, помимо того что воспитанникам прививались литературные вкусы, особое внимание уделялось также "основательному познанию христианского закона".[16] С этой именно целью воспитанники Жуковский и Костомаров, отличавшиеся отличным поведением и прилежанием, должны были читать другим лучшим своим товарищам из старших классов вечерние молитвы, избранные места из Св. Писания и также книги религиозно-мистического содержания: "Утренние и вечерние размышления на каждый день года" протестантского проповедника и слагателя духовных песнопений Христофора Христиана Штурма и "Книгу премудрости и добродетели" Роберта Додслея. Б. Зайцев подчеркивает значение этих чтений для формирования духовного склада Жуковского: "Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души".[17]

Следует заметить, что известные биографы В. А. Жуковского К. К. Зейдлиц и П. Загарин в своих книгах о нем не упоминают об этих религиозно-мистических чтениях. Вскользь касается этой темы А. Н. Веселовский.[18] Акад. Н. С. Тихонравов в обстоятельном разборе книги П. Загарина ставит последнему в упрек упущение этого важного, по его мнению, биографического факта. Н.С. Тихонравов пишет:

лишь на два года младше своего дяди), выросшая с ним вместе и до конца жизни сохранившая к нему теплейшую привязанность. Он же ее и сестру ее Дуню – Авдотью Петровну Киреевскую-Елагину (мать известных славянофилов) называл сестрами ("Долбинские сестры").

16 Из объявления Пансиона, дававшегося перед приемом воспитанников. Цитирую по биографическому очерку проф. А. С. Архангельского к Полному собранию сочинений В. А. Жуковского в 12-ти томах, т. 1 (Изд. А.Ф. Маркса, С.-Петербург, 1902), стр. VI.

17 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 25.

18 А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 49.

Знакомство с сочинениями Штурма, которые носят на себе отпечаток мистицизма, согреты благочестивым чувством автора и богаты поэтическими страницами, – должно было оставить свой след в душе Жуковского. Г. Загарину следовало отметить тот факт, что первое знакомство поэта, в школе, с религиозными истинами и христианской моралью совершилось под влиянием этого протестантского проповедника. Религиозный мистицизм коснулся Жуковского уже в школе. Вторым руководством к нравственной философии служила в пансионе "Книга премудрости и добродетели . . ." (Роберта Додслея, о которой говорит Б. Зайцев, – А. Ш.).[19]

Борис Зайцев далее отмечает, что в годы юности еще не было у Жуковского настоящей веры, а было лишь тяготение к ней, наметившееся еще в детстве и усилившееся за годы его пребывания в Пансионе. Юного Жуковского в первую очередь волновали вопросы добродетели, жизни и смерти, о чем свидетельствуют его ранние, можно сказать, еще ученические стихи: "Добродетель," "К Тибуллу," "К человеку." Мотивы этих стихов: мы все смертны, "вся наша жизнь лишь только миг," "останутся нетленны одни лишь добрые дела," а мы –

Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть,
Мы живы в самом гробе будем![20]

Борис Зайцев резюмирует:

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти (разрядка моя, – А. Ш.).[21]

---

[19] Н. С. Тихонравов. В. А. Жуковский. В кн.: Н. С. Тихонравов. Сочинения в 3-х томах, т. III, ч. 1. Изд. М. и С. Собашниковых, Москва, 1898, стр. 404.

[20] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 28.

[21] Там же, стр. 28.

П. Н. Сакулин, в очерке "Литературные течения в Александровскую эпоху" (История русской литературы XIX века под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 1. Изд. "Мир", М., 1908, стр. 79), пишет: "Когда мы читаем размышление четырнадцатилетнего Жуковского "Мысли при гробнице" (1797) или его ранние стихотворения . . . перед нами уже весь будущий поэт . . . Жизнь, смерть, любовь, дружба, добродетель, человек и Бог – вот неизменные сюжеты поэзии Жуковского".

Борис Зайцев считает, что на пути Жуковского к обретению настоящей и сознательной веры в Бога знаменательными этапами оказались смерть любимого друга и любовь к племяннице по отцу Марии Андреевне Протасовой.

Несчастной любви Жуковского – разделенной, но погубленной препятствием, которым являлось кровное родство, – посвящает автор биографии много страниц, постепенно развертывая "летопись сердца" своего героя.

Эта любовь Жуковского к тихой и скромной Маше Протасовой рисуется Борисом Зайцевым не как любовь-"наваждение" Тургенева к Виардо, а как любовь-благодать, приводящая к Богу.

> Это она (Маша, – А. Ш.) освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии – формальная сторона ее не близка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии (разрядка моя, – А. Ш.).[22]

Б. Зайцев создает "ощущение" значимости Маши для духовного развития Жуковского: вся жизнь поэта, предшествовавшая встрече его со своей Беатриче, описывается автором как своего рода подготовка к приятию им этого чуть ли не священного чувства-откровения. Уже само стремление Жуковского к самосовершенствованию и самовоспитанию, к правде и добродетели определяется автором биографии, как "путь в сущности религиозный".

Борис Зайцев пишет о молодом Жуковском: "Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 г. М. Н. Свечиной – типа amitié amoureuse – не в счет). Никаких Лаис, Дорид пушкинскои юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос... В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству" (разрядка моя, – А. Ш.).[23]

---

[22] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 88.

[23] Там же, стр. 51.

Марья Николаевна Свечина по своей матери Наталье Афанасьевне Вельяминовой (урожденной Буниной) приходилась Жуковскому тоже родной племянницей по отцу – Афанасию Ивановичу Бунину.

А. Н. Веселовский к этому же времени относит и еще одно

И снова акцентируется: "Все еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве".[24]

Но к монашеству Жуковский не готовился. Наоборот, он лелеял мечту о тихом семейном счастье с Машей, о жизни в кругу любимых друзей, объединенных общими интересами и симпатиями, о мирном труде на избранном поприще. Однако, борьба за счастье кончается победой религиозной и строгой ригористки-матери Маши, не дававшей согласия на брак Жуковского (своего брата по отцу) с дочерью. Но горе Жуковского, как пишет Б. Зайцев, "принимает оттенок просветленно-мечтательный. Оно, все-таки, не безысходно, ибо за ним возвышение души, ее возношение все той же Маше. Все для нее. Для ее счастья и радости должен он жить – это и укрепляет".[25]

Постепенно чувство его настраивается на самоотречение. В одном из своих писем Маше Жуковский пишет: "Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив – тобою!"[26] Теперь он должен стать братом, отцом любимой девушки и, как таковой, устроить ее личную жизнь. Зайцев цитирует дневниковые записи Жуковского и комментирует их:

"Та минута, в которую для этой цели (замужество Маши, – А. Ш.) я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает и я прихожу в уныние" –вполне понимаешь, что приходит в уныние,

---

возможное увлечение Жуковского: "Жуковский готов был увлечься в Москве Анной Михайловной (Соковниной, в которую был влюблен тоже Александр Тургенев, – А. Ш.) и в то же время сентиментальничал с Марьей Михайловной Свечиной, которой заинтересовался и которую видимо воспитывал по программе чувствительности, как позже М. А. Протасову" (А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и и "сердечного воображения", стр. 74). Отчество Свечиной – Николаевна (А. Е. Грузинский, ред. Уткинский сборник. Печатня А. И. Снегиревой, М., 1904, стр. 291-292). У Веселовского допущена ошибка.

24 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 63.

25 Там же, стр. 95.

26 Цитирую по книге: К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783-1852. Изд. "Вестник Европы", С. - Петербург, 1883, стр. 71.

но вот мы, через сто с лишним лет, не перестаем приходить в восхищение от смиренных слов чистого сердца, с такой безответностью нам предложенного. "Я решился пожертвовать собой" — есть ли другой такой пример в нашей литературе?[27]

Как у отца, просит Маша у Жуковского совета и разрешения на брак с д-ром и профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером. Зайцев подробно описывает тяжелую жизнь Маши в Дерпте, в доме замужней сестры Александры-Светланы Воейковой: пьянство Воейкова, его грубости и даже оскорбления, которые Маше (да и ее матери) приходилось терпеть. Описываются также сложные отношения между Мойером, Машей и Жуковским, сложные и противоречивые чувства последнего. Но он все-таки находит в себе силы "устроить счастье" Маши – 14 января 1817 года в дерптском Успенском соборе состоялось бракосочетание Маши и Мойера.

Автор биографии развертывает теперь картину жизни Жуковского во внешнем плане (его жизнь и деятельность при дворе) с потаенным звучанием внутренней темы – неумирающей любви к своей Маше, – прорывавшейся только в его лирике этого периода.

Но вот неожиданная и преждевременная смерть Маши (Жуковский узнал о ней 19 марта 1823 года) – последнее откровение для Жуковского: "б е с с м е р т и е стало понятней. Жизнь – не для счастья ... Жизнь – для души".[28]

Сдержанно, пользуясь выдержками из писем Жуковского к другу своему (и покойной Маши) и родственнице А.П. Киреевской-Елагиной, рассказывает Б. Зайцев о чувствах и настроении поэта:

Маша Протасова, "маткина-душка" его молодости, не была венчана ему церковью. Была, будто бы, для него "никем". Но в каком-то смысле соединена навечно. Когда Лаура умерла, Петрарка продолжал свое, только вместо " In vita di Madonna Laura ", сонеты стали называться " In morte di Madonna Laura ". Жуковский просто замолчал ... Одиноких стонов его не слышно. То, что до нас

[27] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 105.

[28] Из письма В. А. Жуковского к А. П. Елагиной (по первому мужу Киреевской). Цитирую по кн.: К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 134.

дошло, уже настоящий "Жуковский", непоколебленный, все принимающий и всегда светлый. "Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святыня". "Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом – религия!"

"В пятницу на Святой Неделе . . .были на ее могиле". Стояли на коленях – мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ..." "Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертие стало понятней. Жизнь не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение".[29]

Таким "непоколебленным, все принимающим и всегда светлым" проходит Жуковский дальше, до конца своей жизни, по страницам зайцевской книги о нем.

Выводя этот образ, Борис Зайцев искусно пользуется перепиской поэта и его произведениями. Те документальные сведения, которые могли бы в какой-то мере нарушить гармоничность и внутреннее единство создаваемого образа, оставляются иной раз без внимания.

Так, например, переписка В.А. Жуковского с родственниками и указания других исследователей жизни и творчества поэта свидетельствуют о том, что еще до выхода Маши замуж за Мойера, равно как и после ее замужества (а затем и после ее смерти), в кругу родных поэта говорилось о возможности и желательности его женитьбы. В годы 1816-1817, например, упоминалась знатная девушка "из одного из первых домов Лифляндии", которую в письмах называли или Анетой, или la belle Allemande.[30]

[29] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 160-161.

"Маткина-душка" – душистая фиалка (Viola adorata). Борис Зайцев часто пользуется этим образом для характеристики душевной красоты Маши Протасовой. Образ взят из русской народной сказки В. А. Жуковского "Три пояса", 1909 г., героиня которой, тихая, скромная Людмила (за ней стоит, конечно, Маша), сравнивается с маткиной-душкой.

[30] Письма М. А. Протасовой-Мойер к А. П. Киреевской от 11--13 августа 1816 года (Уткинский сборник, стр. 175) и от 29 октября 1816 года (Там же, стр. 180-181). Также – письма В. А. Жуковского к А. П. Юшковой (Зонтаг) от конца 1816 года (Там же, стр. 88) и от 4 февраля 1817 года (Там же, стр. 91). Последнее письмо свидетельствует о серьезном обсуждении Жуковским вопроса женитьбы. Он обращается к своим Долбинским сестрам за советом и просит их пока никому об этом не говорить и не писать в Дерпт (где с 1815 года живет Маша).

На годы 1819-20 падает увлечение Жуковского красавицей графиней Софьей Александровной Самойловой – фрейлиной императрицы Марии Феодоровны.[31] В это же время – 13 ноября 1819 года – Маша Мойер пишет Жуковскому из Дерпта:

Воейков рассказывает за верное, что ты женишься на Соничке Карамзиной – я еще не верю, потому что смею думать, что ты бы меня первую уведомил об этом ...

Прощай, дружок, Христос с тобой! Дай Бог тебе все счастье на свете, тогда и мое будет у меня. Обнимаю тебя дружески, мое сокровище. Думай обо мне.

... Дурачок, не забудь, что ты мой милый ангел. Бог с тобой.[32]

Увлечение Жуковского гр. Самойловой нашло отражение в стихотворениях: "Платок графини Самойловой", "Гр. С. А. Самойловой ("Графиня, будьте вы покойны")", "Вчера я вас не убедил", "Напрасно я мечтою льстился" и др., и также в записях в ее альбом – в стихах и прозе.

Исследователь русской поэзии первой половины XIX века и в частности поэзии В. А. Жуковского Цезарь Вольпе (1904-1941) считает и известное стихотворение Жуковского "Счастливец! Ею ты любим!" обращенным к другу поэта В. А. Перовскому ("К П***"), а не к Мойеру.[33] Перовский был тоже, одновременно с Жуковским, влюблен в гр. Самойлову, что чуть не испортило их дружеских отношений. Но поэт "уступил" – его другое стихотворение, озаглавленное "К Василью Алексеевичу Перовскому" написано на эту тему.

---

31 А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 273-283.

Ц. Вольпе. Комментарий. В кн.: В. А. Жуковский. Стихотворения в 2-х томах, т. II. Изд. "Советский писатель", Л., 1940, стр. 528-583.

Через несколько лет после смерти Маши (1831 г.) А. П. Зонтаг нашла Жуковскому "невесту" – графиню Н. Г. Чернышеву, но и тут ничего не вышло. Интересно его письмо **pro** и **contra** по этому вопросу (Уткинский сборник, стр. 106-107).

32 Письмо М. А. Протасовой-Мойер к В. А. Жуковскому от 13 ноября 1819 г. (Уткинский сборник, стр. 233-234).

33 Ц. Вольпе пишет, что стихи эти впервые были напечатаны в журнале "Славянин", ч. 8, стр. 235, без подписи. Рукопись хранится в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Б №29, л. 13) без заглавия, с датой "11 июля 1819". В

Борис Зайцев в книге о Жуковском приводит это стихотворение – "Счастливец! Ею ты любим!" – под заглавием "Мойеру" и добавляет:

Этих стихов не знала ни Александра Федоровна (великая княгиня – ученица Жуковского, – А. Ш.), ни, вероятно, и ближайшие его друзья – Тургенев, Блудов. За них не получал он ни наград, ни пенсий. Просто в Дерпт съездив, повидав жизнь милых сердцу (в феврале 1819 года), написал все это летом для себя. А записалось золотом в наследие литературное, да и человеческое. (Хорошо бы найти другого русского поэта, способного сказать сопернику хоть приблизительно подобное!)[34]

Когда Б. Зайцев писал биографию Жуковского, он еще не знал о результатах исследования Ц. Вольпе относительно этого стихотворения. Узнав же об этом позднее, он, тем не менее, считает, что хотя "наверно, фактически он (Вольпе, – А. Ш.) прав, но внутренно более правы мы с Ефремовым. Стихотворение настолько пронзительно и высоко, что за Самойловой стоит, конечно, Маша. Не похоже, чтобы эта фрейлина могла вызвать такие звуки. Не верю".[35]

И действительно, если даже и не к тихой Маше относятся формально эти именно стихи Жуковского –

Счастливец! Ею ты любим!
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою? –

то все-таки она была вдохновительницей лучших строк его лирики – благоговейных и мечтательно-грустных. О ней он сказал: "Поэзия жизни была она!"[36]

собрания своих стихотворений Жуковский их не вносил, а редакторы посмертных изданий перепечатывали текст, опубликованный П. Ефремовым (в Собрании сочинений В. А. Жуковского, VIII, т. II, стр. 114), который и озаглавил это стихотворение "Мойеру" (Ц. Вольпе. Комментарий. В кн.: В. А. Жуковский. Стихотворения в двух томах, т. II. Изд. "Советский писатель", Л., 1939-40, стр. 530).

34 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 127.

35 Письмо Б. К. Зайцева от 8 июля 1969 г., адресованное мне.

36 Из письма В. А. Жуковского, написанного через несколько дней после смерти М. А. Протасовой-Мойер к А. П. Елагиной (по первому мужу Киреевской). (Цитирую по кн.: К. К. Зейдлиц, Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 134).

Для биографа же Жуковского – Бориса Зайцева – особенно важно то, что через смиренную Машу открывалось поэту "тайное сердце религии." Поэтому-то, как мне кажется, импрессионист Б. Зайцев исключает из внутренней ведущей темы своей книги о Жуковском те факты его биографии внешнего плана (как указанные выше увлечения поэта, не отразившиеся на внутреннем складе его души), которые могли бы в какой-то мере нарушить цельность воссоздаваемого автором образа "поэта одной любви".

И наоборот, чтобы сделать этот образ наиболее выпуклым, впечатляющим и убедительным, много места в книге отводится Маше и сестре ее Саше Протасовой. Если Жуковский Зайцева – свет и излучает свет, то они обе как бы сияют его отраженным светом. Борис Зайцев пишет:

> В годы Белева, Муратова Жуковский недаром учил и воспитывал сестер Машу и Александру-Светлану. Маша и Александра возрастали в духе любви. От Жуковского излучалось нечто. Он не навязывал, не принуждал. Но вот возрасли два юные существа, два духовных плода-отображения Жуковского, неповторимые, но и облики родственно-очаровывающие. И Маша и Светлана каждая сама по себе. Но в них Жуковский – светлым своим сиянием. Поэтому их жизнь – и его жизнь. Их томления – его томления. Их возношения души "горе" – его возношение, как и их крест его крест. Говоря о Светлане и Маше, говоришь о Жуковском.[37]

Эти слова объясняют и вполне оправдывают введение в книгу о Жуковском жизнеописаний (хотя и кратких) обеих

[37] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 145.

Едва ли Борис Зайцев преувеличивает значение воспитания Жуковским сестер Протасовых. Мнение А. Н. Веселовского подтверждает точку зрения Б. Зайцева: "Жуковский несомненно воспитал ее и ее сестру Александру Андреевну в духе amitié amoureuse, мечтательности и пиэтизма; обе в известной мере его создания, и он привязался к ним, душевно любил Машу – и давал ей читать Мендельсона, Ueber die Unsterblichkeit der Seele. На экземпляре 1776 г. на заглавном листе написано Marie de Protasoff; Маша читала эту книгу в 1813 г. в Орле; на первой странице Жуковский пометил карандашом: "О пользе несчастия" (А.Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 134). Сама Маша в одном из своих писем незадолго до смерти (от июля 1822 года) писала, что она "bekam von ihm Unterricht, Bildung und – Seele" (П. Н. Сакулин. М. А. Протасова-Мойер по ее письмам. В кн.: Известия отделения русского языка и словесности им. Академии Наук, т. XII, кн. 1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1907, стр. 5).

сестер. Они вступают в зайцевскую биографию "Жуковский", сначала как юные ученицы поэта: одна тихая, очень религиозная двенадцатилетняя девочка – "русский скромный цветок, кашка полей российских" – его Беатриче; вторая на два года младше – "жизнь, резвость, легкий полет, гений движения" и тоже его муза: ей были посвящены баллады "Громобой" и ею же вдохновленная "Светлана". "Самой Саше Протасовой дано новое крещение, в литературе... С этого времени входит она в жизнь Светланою: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и светоносного имени, как бы еще ее возносящего".[38]

В изображении образов Маши и Светланы все внимание автора книги направлено на воссоздание их духовного облика. Прелесть этих двух женщин не во внешней красоте, а в неосязаемых особенностях их прекрасных душ. Поэтому, вероятно, Борис Зайцев не рисует внешнего портрета Светланы. Ее образ он определяет словами: свет, радость, полет, сильфида, "дева-Светлана (хоть мать, но и дева)".[39] Смиренную Машу характеризуют: "полевая кашка", "маткина душка", "белевская Беатриче", "белевская Лаура". Ее наружность – без каких-либо особенно запоминающихся черт (у Полины Виардо, например, "блестящие, черные, магнетические глаза") – описывает Б. Зайцев по дошедшим до нас портретам и фотографиям. В юном возрасте "Машу изображения показывают миловидной и нежной, с несовсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния – нечто лилейное".[40]

Второй портрет Маши (в зрелом возрасте, ожидающей уже второго ребенка) дается Б. Зайцевым по рисунку, сделанному сестрой Светланой незадолго до Машиной смерти:

---

38 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 74.

Александра (Светлана) Андреевна Протасова-Воейкова была также музой слепого поэта И. И. Козлова и Н. М. Языкова.

39 "Дева-Светлана", – может быть, этими словами автор биографии Жуковского хотел сказать, что жизнь с таким человеком, как Воейков (безобразным и внешне и внутренне), оставила нетронутой и незапятнанной ее чистую душу.

40 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 53.

На лбу локон, огромный узел волос на затылке, легкие кружева окаймляют шею. На ней просторное платье. Во всей позе и выражении тонкого, но и простого профиля с мелкими чертами лица . . . – во всем спокойствие и задумчивость. "Да будет воля Твоя".[41]

"Да будет воля Твоя" – этими словами молитвы Господней определяется как жизнь самого Жуковского, так и земной путь Маши и Светланы – его двух "отображений". Б. Зайцев рассказывает о силе духа, терпении, о безграничной вере в Провидение, с которыми каждая из них безропотно и смиренно переносила выпавшие на их долю испытания. (Светлана даже как бы повторила подвиг самоотречения своего учителя – Жуковского: отказалась от любви Александра Тургенева, оставшись верной долгу жены и матери).

Борис Зайцев показывает, как обе – и Маша и Светлана – жизнью своей осуществили высокие слова своего наставника, ставшего для них также преданным другом, братом и любящим отцом: "Жизнь для души – не тот достиг ее цели, кто много имел в ней, но тот, кто много страдал и был достоин своего страдания".[42] Если смерть Маши была для Жуковского уверением в бессмертии, то узнав о близком конце Светланы, он пишет ей письмо, в котором благославляет ее на смерть. Из этого письма Б. Зайцев приводит следующую цитату:

---

[41] Там же, стр. 152.

Ф. Ф. Вигель – мемуарист, современник Жуковского – пишет в своих воспоминаниях о Маше Протасовой-Мойер: "Она была вовсе не красавица; разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна, но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал, а находясь с такими, как она, в сердечном умилении, все хочется пасть к их ногам. Ну точно она была как будто не от мира сего" (Цитирую по книге: А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 221).

[42] Из письма В. А. Жуковского от 12 ноября 1823 года к А. П. Киреевской (Уткинский сборник, стр. 39).

"...Нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?... Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благословляю тебя!"[43]

Эти слова (как и другие высказывания Жуковского о смерти) – свидетельство той высоты веры и духа поэта, которая дает Б. Зайцеву основание сказать:

Жуковский святым не был, но приближался к той грани, которая дает п р а в о прямо сказать о смерти и даже благословить на нее; для этого должно существовать незыблемое и глубокое чувство т о г о мира, мира духа и света, исход в который из здешнего не только не горе, но радость. (Св. Серафим "наставил" умереть совершенно здоровую молодую девушку, ибо считал, что для ее судьбы это лучше – она и умерла, очень скоро). Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоящая родина Светланы.[44]

В сжато-убыстренном темпе описывает Борис Зайцев затем последние двадцать три года жизни Жуковского (этому периоду жизни поэта отводит автор биографии всего около четверти книги).

Это как бы рассказ о второй жизни поэта. Отошли в страну дорогих воспоминаний "милые спутники" Жуковского – Маша и Светлана. Теперь тема внешнего плана жизни поэта как бы приглушает звучание темы внутренней. Одна за другой мелькают страницы – отписки: воспитание Жуковским будущего царя Александра II, путешествия по России и Западу, творчество ("Царь Берендей", "Суд Божий над епископом", "Война мышей и лягушек" и др.), сближение с семьей художника Рейтерна.

Внимание автора несколько задерживается на этой семье, т.к. с ней связана новая судьба поэта – позднее осуществление мечты о создании своего очага. Через восемнадцать лет после смерти Маши Жуковский, в возрасте пятидесяти восьми лет, женился на старшей дочери художника Рейтерна Елизавете, которой был двадцать один год. Как

[43] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 180.

[44] Там же, стр. 181.

бы раздумывая над судьбой поэта, стараясь его понять, Б. Зайцев делится с читателем своими мыслями:

Неизвестно, был ли покоен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно таки случайною встречей с Елизаветой? [45]

Далее Борис Зайцев пишет, что даже в тишине и покое первых счастливых лет семейной жизни престарелого поэта все-таки чувствовался некоторый "меланхолический налет" – не отходят от Жуковского "две милые тени". В подтверждение своей мысли биограф цитирует строки из посвящения повести "Наль и Дамаянти" великой княжне Александре Николаевне (посвящение это представляет собой ряд снов поэта, рисующих его прошлую и настоящую жизнь):

. . . и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать . . .
. . . .
. . . на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла:
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью . . . и я проснулся. [46]

Борис Зайцев ставит вопрос (и тут же сам дает на него ответ), который в свое время волновал родных и близких друзей поэта:

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в такое верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая .... Есть, может

[45] Там же, стр. 223.

[46] Там же, стр. 227.

Евангельские слова: "Да не смущается сердце ваше. . ." и "Приидите ко мне вси труждающиеся. . ." были вылиты на могильных памятниках Маши, похороненной в Дерпте, и Светланы, погребенной в Ливорно.

быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).[47]

Этими словами Б. Зайцев как бы дает ответ на мысли, высказанные К. К. Зейдлицем и А. Н. Веселовским. Первый писал: "Поэтизируя свою настоящую жизнь – желая быть счастливым, Жуковский стремится уподобить образ жены с образом идеала своей юности и зрелых лет – Машею".[48] А.Н. Веселовский же, видимо, в какой-то мере поддавался соблазну "изобразить брак Жуковского в духе Новалиса":

"Для сердца прошедшее вечно", повторяющееся на расстоянии 30 лет в разных применениях – что это такое? Наивный ли эгоизм чувства, лелеющего милые воспоминания, которые сплачиваются для него в один, довлеющий в себя аффект? . . . Или это воображение сердца, herzliche Phantasie Новалиса, желание спасти девственность первого глубокого увлечения, введя в его колею другое или другие, как его отражения, воскресения?[49]

Биограф Зайцев рассматривает семейную жизнь Жуковского как новое для поэта испытание в смирении и вере: его молодую жену постигла тяжелая болезнь (нервное расстройство) – "самая бедственная из всех возможных болезней, болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастье", – писал Жуковский.[50]

С этого момента снова ширится тема внутреннего плана. И теперь, по страницам зайцевской книги, Жуковскому сопутствует Гоголь, духовный путь которого был близок и понятен поэту, как он близок и понятен самому Борису Зайцеву.

Но и в этом сопоставлении двух художников и их духовных исканий Б. Зайцев остается импрессионистом в своих контрастных сравнениях:

Жуковского этого времени видишь пополневшим, с лицом, может быть, несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза . . .
. . . .

[47] Там же, стр. 227 (разрядка моя, – А. Ш.).

[48] К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского, стр. 189.

[49] А. Н. Веселовский. Поэзия чувства и "сердечного воображения", стр. 286.

[50] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 239.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жилетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем.

. . . .

Оба много в эти годы страдали, по разному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз "Выбор креста"). Литература освежала его, укрепляла.

У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством... Его окружал воздух трагедии. Жуковскому трагедия не подходила.[51]

Б. Зайцев, однако, подчеркивает, что "вообще в главнейшем они близки", но духовный путь Гоголя полон горечи и драматизма, путь же Жуковского – ясен и гармоничен. Он давно нашел своего Бога. Настоящие же испытания только укрепляют его веру, что он и выразил в своей неоконченной предсмертной поэме "Агасфер". "Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в "Агасфере" мало, – пишет Зайцев. – Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство – скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном тоне гимн, пение предсмертное и хвала Богу".[52]

В течение своей жизни Жуковский всеми деяниями стремился "собрать как можно более на дорогу в другую жизнь".[53] Теперь, на семидесятом году жизни, его час наступал, и он достойно его встретил:

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился – началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание – переход – успение. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша – как и сам жил. Именно он отчаливал.[54]

---

[51] Там же, стр. 231.

[52] Там же, стр. 241.

[53] Из письма В. А. Жуковского к своим родным в Муратово, в котором он сообщал им о принятом решении жениться на Елизавете Рейтерн. Письмо очень длинное, и писал он его в течение двадцати пяти дней: от 10 августа по 5 сентября 1840 года. (Цитирую по кн.: П. Загарин. В. А. Жуковский и его произведения. Изд. Льва Поливанова, М., 1883, стр. 565).

[54] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 246 (разрядка моя, – А. Ш.).
"Дай Бог каждому из нас кончать, как Жуковский. Но это надо заслужить", – записал Б. К. Зайцев, когда начал работать над книгой о Жуковском ("Возрождение", тетрадь десятая, июль-август 1950, стр. 75).

Так заканчивает Борис Зайцев свой труд о Жуковском – "единственном кандидате в святые от литературы нашей".[55]

* * *

Как и в "Жизни Тургенева", в книге о Жуковском нет вымышленных лиц.

Перед глазами читателя проходит жизнь поэта, богатая встречами и общением с великими, замечательными и просто известными людьми конца XVIII и первой половины XIX века, такими как: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, К. Н. Батюшков, И. И. Дмитриев, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин, М. И. Козлов, Н. М. Языков, братья Тургеневы, граф Блудов, пользовавшийся дурной славой автор "Дома сумасшедших" (и муж Светланы Жуковского) А. Ф. Воейков и др. Многолетняя служба Жуковского при дворе, обязанности которой он нес с достоинством и редким чувством ответственности, вводила его в круг царской семьи: императрица Мария Феодоровна, Александр I, Шарлотта Прусская – позднее великая княгиня Александра Феодоровна, Николай I, будущий Александр II, для которого, как говорит Б. Зайцев, Жуковский был "больше отцом, чем отец настоящий".

В свойственной ему импрессионистической манере рисует Борис Зайцев портреты некоторых из названных выше лиц. Вот, всего в нескольких штрихах, портрет Николая I:

> Здоровье, сила, крепость, красота. . . – Темперамент огромный, но и великая выдержка. Велика и сила глаз – прекрасных по рисунку, но иногда страшных.[56]

Портрет Воейкова:

> Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший . . . В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной – двуснастный. Мог оскорблять – и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.[57]

"Реконструируемое" Борисом Зайцевым в книге "Жуковский" по творческому методу распадается на несколько групп:

---

[55] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 243.

[56] Там же, стр. 166.

[57] Там же, стр. 84.

а. Положения, адекватные документам.

Б. Зайцев описывает представление Жуковского имп. Марии Феодоровне:

Разумеется, ему жутко в этот майский день. Уваров ведет его по Дворцу. Пройдя небольшую комнату, входят они в другую, перед дверями которой ширмы. Из-за ширм голос произнес:
"Bonjour, monsieur Ouvaroff" – Жуковский думает, что это придворная дама. Вошли, оказалось – сама Императрица. Вдали, в глубине большой комнаты, великие князья Николай и Михаил Павловичи. Жуковский хотел что-то сказать благодарственное, заранее приготовил, но ничего не вышло, только все кланялся. Все же разговор завязался. Мария Федоровна неважно говорила по-русски – быстро и не совсем внятно. Жуковский в волнении своем с ужасом заметил, что плохо понимает. Выручил Уваров: задал Императрице вопрос по-французски и дело наладилось. Стали вспоминать прошлое, войну, тяжелые времена. Как тогда полагалось, Государыня была чувствительна: несколько раз слезы показывались у нее на глазах. Держалась она очень милостиво и приветливо. "Беседовали" около часу. Когда гости стали откланиваться, она ласково сказала Жуковскому: "Мы еще с вами увидимся".[58]

[58] Там же, стр. 106-107.

Сам Жуковский описывает это представление в письме к родственникам:

Теперь о свидании с Императрицею. Уваров, на другой день моего приезда, написал к ней, что я в Петербурге, и получил приказ представить меня в следующее воскресенье. Была пятница; мундира у меня не было; кое-как накопил от добрых приятелей мундирную пару, и мы с Уваровым отправились в воскресенье во втором часу во дворец. Дожидались довольно долго, потому что были после обедни парадные аудиенции, а меня велено было представить ей в ее кабинете. Из большой залы, в которой мы стояли, двери прямо в этот кабинет. Вдруг они отворились – являются великие князья и проходят мимо нас на свою половину; потом опять возвращаются и идут к Императрице и вслед за этим нас приглашают. Тут вы воображаете, что я струсил и что сердце у меня заколыхалось – ни мало! Желудок мой был в исправности, следовательно, и душа в порядке. Проходим в маленькую горницу; – Уваров шел впереди – входим в другую; перед дверьми ширмы – вдруг из-за ширм говорит Уварову женский голос: Bonjour, monsieur Ouvaroff; – это какая-нибудь придворная дама, думаю я – иду, предо мной Императрица. За нею, гораздо поодаль, у дверей ве-

ликие князья. Разумеется, началось приветствием. Я хотел было сказать: не умею изъяснить Вашему Вел. своей благодарности за ваши милости, – но исполнил это на деле, а не на словах, потому что не умел ничего сказать, а отделался поклонами. Сначала было довольно трудно говорить – потому что Государыня говорила по-русски, не очень внятно и скоро, и я не все понимал. Уваров это заметил и сказал два слова по-французски; это заставило ее отвечать по-французски, и разговор пошел очень живо – о войне, о ее беспокойствах прошедших и о прошедших великих радостях; в этом разговоре было для меня много трогательного – мать говорила о сыне и с чувством; несколько раз навертывались у ней на глазах слезы. Разговор продолжался около часу. Наконец, мы откланялись. "Мы еще с вами увидимся", сказала она мне очень ласково.[59]

Следующий случай из детских лет Жуковского описывается Борисом Зайцевым по рассказу К. К. Зейдлица – "Жизнь и поэзия В. А. Жуковского", стр. 10-11 (Зейдлиц же восстановил эту картину детства поэта по воспоминаниям Анны Петровны Зонтаг, урожд. Юшковой).[60]

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	К. К. Зейдлиц:
Андрей Григорьевич (Жуковский, – А. Ш.) пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Го-	. . . Андрей Григорьевич сам пытался посвятить своего крестника в тайны славянской грамоты; но она очень трудно

[59] Из письма В. А. Жуковского от 11 июня 1815 года к родственникам в Долбино (Уткинский сборник, стр. 15).

[60] Эти воспоминания А. П. Зонтаг о первых годах детства В.А. Жуковского были напечатаны в "Русской мысли", год 4-ый, кн. 2-ая, Москва, 1883, стр. 266-285.

лова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры – с ранних лет сидела в нем страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны (его мать – турчанка, принявшая православие, – А. Ш.) икону Божьей Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу, и повидимому удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены; крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила – у мальчика руки испачканы были мелом.[61]

давалась Васеньке. Вместо черчения букв на аспидной доске, он рисовал мелом на столе и на полу разные рожи. . . . . . . Однажды образ Боголюбской Божией Матери принесен был из церкви и поставлен прямо против двери в комнате Елисаветы Дементьевны. Она ушла куда-то по хозяйству, оставив дверь настежь. Горничные все ушли обедать. Маленький пятилетний Васенька уселся в девичьей на полу и принялся срисовывать образ, стоявший в горнице его матери. Никто этого не видал. Окончив работу, он пришел в гостиную к Марье Григорьевне. Служанки, возвратившись, с удивлением увидели на полу изображение иконы. Творя молитву и крестясь, они прибежали к Марье Григорьевне и объявили, что икона святой Владычицы сама собою отразилась на полу девичьей . . . Марья Григорьевна, заметив замаранную мелом руку мальчика, смекнула в чем дело, и дала настоящее объяснение случившемуся.[62]

Аналогичных реконструкций различных эпизодов в жизни поэта и бытовых картин много в книге о Жуковском: детские годы в Мишенском и жизнь в Туле у сестры и крестной матери Варвары Афанасьевны Юшковой – по названной книге К. К. Зейдлица и воспоминаниям А.П. Зонтаг; последние дни жизни Жуковского – по воспоминаниям штутгартского священника И. Базарова (который исповедывал и причащал больного поэта); жизнь Маши в Дерпте до и после замужества – по ее письмам; кончина Светланы в Пизе – по письму К. К.

[61] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 11.

[62] К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 10-11. Между прочим, сравнение этих текстов обнаруживает несущественную неточность, вкравшуюся в рассказ Бориса Зайцева: объяснение "чуду" было дано Марьей Григорьевной Буниной, а не Елизаветой Дементьевной.

Зейдлица (который был при ней до последнего вздоха) к В. А. Жуковскому и т. д.

б. Положения – компиляция нескольких документов.

Следующее сравнение текстов показывает, как, чередуя части двух документальных источников – из книги К. К. Зейдлица и письма В. А. Жуковского – Борис Зайцев воссоздает эпизод устройства Жуковским Батюшкова в лечебницу, описание дерптского кладбиша и посещений поэтом могилы Маши:

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Отрывки из книги К. К. Зейдлица и письма Жуковского:
В мае 1824 г. он повез Батюшкова в Дерпт, к тамошним друзьям-врачам. Те посоветовали отправить его в Дрезден, в известную лечебницу Зонненштейна. Так и сделали. Все сделали наилучше, со вниманием и любовью, Батюшкова устроили, а судьба его оказалась – долгие годы неизлечимого безумия.	Я еще раз был в Дерпте. Эта дорога обратилась для меня в дорогу печали: зачем я ездил? Возил сумасшедшего Батюшкова, чтоб отдать его в Дерпт на руки докторам. Но в Дерпте это не удалось, и я отправил его в Дрезден, в Зонненштейнскую больницу: уже получил оттуда письмо, он слава Богу на месте. Но будет ли спасен его рассудок? Это уже дело Провидения. [63]
В Дерпте Жуковский жил могилою Маши (его "Алтарь"). Чугунный крест был им поставлен, с бронзовым по кресту барельефным Распятием. Что особенно Маша любила в Евангелии, то теперь осеняло ее – на плите вылито: "Да не смущается сердце ваше..." (Иоанн, 14,1) и "Приидите ко Мне вси труждающиеся..." (Матф., 11, 28).	Всякий раз, когда только он мог отлучиться от своих занятий при дворе, он спешил ехать на могилу Марии Андреевны, к своему "алтарю", на котором воздвигнул чугунный крест, с бронзовым распятием. На бронзовой доске вылиты были любимые покойницею слова Евангелия: "Да не смущается сердце ваше," и проч. (Иоан., гл. 14, ст. 1), и "Приидите ко мне вси труждающиеся," и проч. (Матф., гл. 11, ст. 28).[64]
Тихо, покойно. Цветы, скромная ограда, скамейка. Кругом деревца. Рядом проезжая дорога, а за нею поле, простенькое русское (как и "русским" кладбище называ-	. . . чувство, с каким я взглянул на ее тихий, цветущий гроб,

[63] Из письма В. А. Жуковского от 9-24 июня 1824 г. к А.П. Киреевской (Уткинский сборник, стр. 40-41).

[64] К.К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 137.

лось), с жаворонками в майском небе, со светом и благоуханием весны.

Это идет Жуковскому. Уезжая из Дерпта, когда экипаж проезжал мимо кладбища, он приказывал остановиться, выходил, кланялся могиле земно, ехал дальше.

На этот раз, отослав в Дрезден Батюшкова, так же поступил.[65]

точно было утешительным, усмиряющим чувством. Над ее могилой небесная тишина! . . . все, что мы посадили, цветы и деревья, принялось, свежо, цветет и благоухает.[66]

Всякий раз, когда он приезжал из Петербурга в Дерпт, он прежде всего отправлялся поклониться этой могиле, которая находится на русском кладбище, вправо от почтовой дороги; возвращаясь из Дерпта в Петербург, он останавливался тут на прощание с могилой.[67]

В ту минуту, когда он отправился в один конец ("он" – Батюшков, – А. Ш.), а я в другой, то есть назад в Петербург, я остановился на могиле Маши.[68]

в. Положения "творчески домысленного" характера.

В некоторых случаях Б. Зайцев как бы раздвигает рамки документа. Так, при воссоздании картины отъезда Жуковского из Дерпта и его последнего свидания и прощания с Машей в канву текста письма Жуковского вводится ряд деталей – шинель, теплая шапка, чай, зевота Мойера, его колпак, капот Маши (она беременна) и т. д. – для создания соответствующего настроения: все так обыденно-просто – "люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни".[69] Введением деталей Б. Зайцев, как художник-импрессионист, сначала как бы замедляет движение повествования, чтобы затем, наоборот, краткими, отрывистыми предложениями создать драматический эффект "последнего на этом свете" расставания с любимой.

---

65 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 164-165.

66 Из письма В. А. Жуковского от 9-24 июня 1824 г. к А.П. Киреевской (Уткинский сборник, стр. 41).

67 К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 137.

68 Из названного выше письма В. А. Жуковского (Уткинский сборник, стр. 41).

69 Цитирую по книге: Е. Балабанович. Из жизни А. П. Чехова. Изд. "Московский рабочий", М., 1967, стр. 151.

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Из письма В. А. Жуковского:
Лошадей заказали давно, выезжать надо было вечером, от Мойеров. Все собрались. Вещи уложены, Жуковский в дорожной шинели, теплой шапке. Сидят, ждут. Уезжающий накормлен, и все русские предотъездные чаи отпиты, разговоры переговорены. А лошадей нет. Начинают уставать. Рано встают, рано привыкли ложиться. Мойер зевает. Светлана, худенькая и некрепкая, бледнеет. Маша неестественно полна, в капоте – тоже погружается в туман. Жуковский предложил Воейковым итти домой и проводил их. Вернулся, настоял, чтобы Мойеры шли спать к себе наверх, а он внизу подремлет. Когда подадут лошадей, зайдет проститься. Они взяли с него слово, что вот именно и зайдет. Он уселся в шинели внизу и подремал – недолго, около получаса. Лошадей, наконец, подали. Поднялся, подошел к лестнице, скрипнул ступеньками ее и хотел было уж назад спуститься – жаль будить Машу. Но она не спала. Мойер похрапывал в своем колпаке, Маша не спала. Он вошел в комнату. Маша хотела встать, он не позволил. Подошел, поцеловал. Маша попросила, чтобы перекрестил. Он и исполнил. А она откинулась, спрятала голову в подушку.	Было поздно, когда я выехал из Дерпта, долго ждал лошадей, всех клонил сон. Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до ее дома; услышал еще голос ее, когда готов был опять войти в дверь, услышал в темноте: "прости!" Возвратясь, проводил Машу до ее горницы; они взяли с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса все готово к отъезду, встаю, подхожу к ее лестнице, думаю – идти ли, хотел даже не идти, но пошел. Она спала, но мой приход ее разбудил; хотела встать, но я ее удержал. Мы простились; она просила, чтоб я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку, и это было последнее на этом свете![70]

[70] Из письма В. А. Жуковского от 23 марта 1823 года из Дерпта к А. П. Елагиной (Цитирую по кн.: К.К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского, стр. 132).

Вот и все. Так попрощались, так расстались. А потом темная ночь, кибитка, ухабы, запах влажного меха, в который кутался, может быть, и слеза украдкой – впереди дальний скучный путь под вековечный русский колокольчик. Ямщики, станции, вспухающие речки, сырые сугробы – начинается распутица.[71]

Авторское продление документа кончается здесь пейзажной зарисовкой. Вообще же, в книге о Жуковском пейзажей немного. Некоторые из них написаны на основе документальных источников. Вот характерный для поэтики Бориса Зайцева импрессионистическо-лирический пейзаж:

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Из письма В. А. Жуковского о Швейцарии:
Тишина. Иной раз звук колокола, но мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход, горы безмолвствуют, воздух благословенный стекает к бредущему Жуковскому – пусть будет дальний лай собаки, одинокий человеческий голос в горах – все равно, не нарушить им великой безглагольности Природы.[72]	. . . иногда в тишине, между огромными горами, которых громады приводят невольно в трепет, вдруг раздается звон часового колокола с башни церковной: этот звон, как гармоника, промчавшись по воздуху, умолкает, и все опять удивительно тихо в солнечном свете; он ярко лежит на дороге, на которой там и здесь идет пешеход и за ним его тень. В разных местах слышатся звуки, не нарушающие общей тишины, но еще более оживляющие чувство спокойствия; там далекий лай собаки, там скрип огромного воза, там человеческий голос. Между тем в воздухе удивительная свежесть, есть какой-то запах не весенний, не осенний, а зимний; есть какое-то легкое, горное благоухание, которого не чувствуешь в равнинах.[73]

[71] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 159-160.

[72] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 195.

[73] Из письма В. А. Жуковского о Швейцарии от 4/16 января 1883 года (В. А. Жуковский. Собрание сочинений, стр. 964).

Следующий пример от-авторского пейзажа (как и картина тихой, "без волнений любви", семейной жизни Маши) как бы заостряет впечатление надвигающейся катастрофы – неожиданной смерти Маши:

> Предвечерними зорями, уже весенними, с шоколадным снегом на улице, протыкающимся под копытами лошадей, при веселых лужах и воробьях, тучкой взлетающих с дороги, прогуливался он (Жуковский, – А. Ш.) по мирным улицам города. Мартовский романтический закат, тихие зори. Возвратясь, мог застать Машу и Мойера за роялем, при свечах разыгрывающими сочинения мойерского знакомого: Ван-Бетховена.[74]

Вот как все покойно, умиротворенно-радостно, наступает весна – символ жизни. А через несколько дней Маши не стало.

Как и в "Жизни Тургенева", в книге о Жуковском не много воспроизведений прямой речи и диалогов. В некоторых случаях они представляют собой раскавыченный текст документальных материалов, в других – автор сохраняет кавычки. Привожу здесь разговор Жуковского с художником Рейтерном относительно возможности женитьбы поэта на Елизавете Рейтерн, воспроизведенный Б. Зайцевым по письму В. А. Жуковского.

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	В. А. Жуковский в письме к родственникам:
Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот обращается он к Рейтерну: – Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастие жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается,	В темноте говоришь смелее и откровеннее, нежели при свете, и я сказал своему Безрукому: ". . . Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь, более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастие, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им, как пре-

[74] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 159.

полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его не возможно. К удивлению его Рейтерн ответил, что вовсе не так невозможно. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елисавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно. – Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.[75]	красным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно." – Mon cher ami – отвечал он мне, la chose n'est pas si impossible que vous le croyez et que moi je l'ai cru d'abord.... – Je crois, d'après mes propres observations, qu'Elisabeth a dans son coeur un attachement pour vous! Et c'est déjà depuis longtemps. –"Cela me suffit; dès ce moment je suis à elle, si vous consentez, qu'elle soit à moi. Voici ma main".[76]

Сравнение текстов показывает, что ответ Рейтерна по-французски Б. Зайцев пересказывает по-русски и также переводит реплику Жуковского на русский язык.

Иногда в зайцевском тексте наблюдается усечение прямой речи, приводимой в документальных источниках, положенных автором биографии в основу своей книги. Делает это Б. Зайцев, вероятно, с целью уплотнения повествования. Примером может служить диалог больного Жуковского и приехавшего к нему священника о. Иоанна Базарова:

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Воспоминания о. Иоанна Базарова:
Жуковский опять стал просить отложить. – Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться пред Ним? О. Иоанн не согласился.	Его первые слова были: "Ну, теперь нечего делать, надо отложить. Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться перед Ним?"... Выслушав его, я отвечал: "Но

[75] Там же, стр. 220.

[76] Из письма В. А. Жуковского о браке (Цитирую по кн.: П. Загарин. В. А. Жуковский и его произведения, стр. 554-555). Жуковский называл Рейтерна Безруким: в 1813 г. художнику в битве под Лейпцигом оторвало ядром правую руку. Он потом научился рисовать левой рукой.

. . . . –Если бы сам Господь захотел придти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?[77]	что бы вы сказали теперь, если бы сам Господь захотел притти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?"[78]

В качестве примера сохранения кавычек можно привести последние предсмертные слова Светланы, как они воспроизведены Б. Зайцевым:

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Из письма К. К. Зейдлица:
Слышала, как пять пробило. "Умру ли я через два часа?" Ошиблась всего на полчаса. В половине восьмого сказала, что ей холодно. "Укройте меня" – но от этого холода никто уж не мог ее укрыть. Через несколько минут она отошла.[79]	Часы пробили пять. "Скоро ли конец?" сказала она мне. "Умру ли я через два часа?" . . . В половине восьмого она спросила меня который час. "Укройте меня, мне холодно. Вы меня слышите? Мне становится трудно говорить". Это были ее последние слова. Еще несколько слабых вздохов и душа, освобожденная от оков, возвратилась к Отцу.[80]

Ниже дан пример зайцевского продления документа. На основании письма М. А. Протасовой он передает мысли своего героя, заключая их в кавычки:

Борис Зайцев в книге "Жуковский":	Из письма Маши Протасовой к А. П. Киреевской:
Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий-курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается – еще пять,	Здесь проезжал прошедшей зимой один купец и имел с собой человека, который отморозил себе обе ноги. Разумеется, что купец этот не имел более в нем нужды, а потому оставил его – посреди улицы. Несчастный

77 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 245.

78 Свящ. И. Базаров. Последние дни Жуковского. "Литературные прибавления к Журналу Министерства Народного Просвещения", № 1, апрель, 1852, ч. XXIV. С.-Петербург, 1852, стр. 3.

79 Борис Зайцев. Жуковский, стр. 182.

80 Из письма К. К. Зейдлица к В. А. Жуковскому (Цитирую по кн.: Н. В. Соловьев. История одной жизни. А. А. Воейкова – "Светлана". Петроград, 1915, стр. 251).

снова уходит. Снежком завевает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. "У меня двести рублей, а у него только десять" — возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. "Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?" Опять назад и опять пятьдесят.[81]

этот страдал целую весну и лето, сидел на дороге, ведущей к Домскому строению (собору, — А. Ш.), просил милостыню и ждал смерти. В одно утро идут Моргенштерн (дерптский профессор, — А. Ш.) и за ним Жуковский в библиотеку. Бедняк просит подаяния. . . . Жуковский дал ему 5 р., потом, сделав два шага, возвратился, дал еще 5 р. и далее. Взошед на гору, ему стало совестно, что из 200, которые он имел, он отдал только 10; возвратился опять и дал 50 руб. Хотел продолжать свою прогулку, но подумал: я имею ноги, могу гулять и берегу для себя 150 руб.! возвратился и дал ему еще 50.[82]

В книге о Жуковском, как и в "Жизни Тургенева", нет внутренних монологов. О душевном состоянии героев говорят не они сами, а цитаты из их переписки и дневниковых записей. Вот, например, как описывает Жуковский свои чувства после Машиной свадьбы:

"Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но боровшись имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником" . . . .
"Я не могу читать стихов своих. . . . Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет".[83]

При отсутствии достаточных документальных сведений о том или ином периоде жизни описываемых в биографии "Жуковский" лиц Б. Зайцев прибегает к помощи открыто высказываемых гипотез. Иногда такие предположения делаются им в форме вопросов с тут же приводимыми от-авторскими

[81] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 139-140.

[82] Из письма М. А. Протасовой от 14 февр. 1817 г. (Уткинский сборник, стр. 192).

[83] Борис Зайцев. Жуковский, стр. 119-120.

ответами: "Полюбила ли его (Воейкова, – А. Ш.) Светлана? Трудно себе это представить".[84] Или:

Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридевять земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видала связи отца с Сальхою и не знала о ней.[85]

Чаще, однако, вопросы оставляются автором без ответов:

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны (чтобы не давать Маше согласия на брак с Жуковским,–А.Ш.)? Одно ли сознание церковное ею руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии, мужа с имениями, крепостными?[86]

Иногда ответ на вопрос автора как бы вытекает из предыдущего высказывания. Вот как Б. Зайцев комментирует дневниковую запись Жуковского – "Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем":

"Не был любим никем" – это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полу-любить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Буниными и оказалась связанной?[87]

В очень многих случаях от-авторский вопрос выражает у Б. Зайцева как бы его собственное раздумье над судьбой героев, или же стремление как-то проникнуть в их сокровенные мысли.

Не напрасно явилась "Ундина" в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайна – внутренно связана с замирающей памятью о Маше. Сознавал ли тогда, в Верне, Жуковский всю важность задуманного и начатого?[88]

В "Жуковском" Борис Зайцев также пользуется такими модальными словами и выражениями, как: может быть, вероятно, будто бы, как будто, видимо, вряд ли, неизвестно, можно думать, можно себе представить, надо полагать и др.

---

[84] Там же, стр. 90.

[85] Там же, стр. 46.

[86] Там же, стр. 198.

[87] Там же, стр. 38.

[88] Там же, стр. 198.

Однако, в этой книге он пользуется ими в гораздо меньшей степени, чем в "Жизни Тургенева". Объясняется это, вероятно, тем, что Жуковский еще более близок автору, чем Тургенев. Поэтому, описывая жизнь Жуковского, Борис Зайцев чувствует себя много увереннее как в высказываемых им суждениях, так и в интерпретации самого образа поэта. Явные же предположения со стороны автора подчеркиваются им употреблением этих модальных слов и выражений:

> Домик Жуковского в Белеве был уже готов. Но, в и д и м о, он в нем не жил. Н а д о п о л а г а т ь, там поселилась мать его, Елизавета Дементьевна. . . . О х о т н о в и д и ш ь в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, м о ж е т б ы т ь, в шляпе широкополой, из под которой кольцами вьются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве – там ждут строгая маменька и две тоненькие девочки.[89]

В "Жуковском" несколько меньше, чем в "Жизни Тургенева", и заключенных в скобки от-авторских вставочных слов, словосочетаний и предложений. Но, в общем, они распадаются на такие же группы, как и подобные им вставочные сообщения в книге о Тургеневе.

Как уже упоминалось в начале главы, в книге о Жуковском Борис Зайцев широко пользуется цитированием документальных материалов. Однако, эти цитаты не кажутся в повествовании каким-то инородным телом, а скорее вливаются в ткань рассказа как его неделимая составная часть.

> В феврале и отправился (Жуковский, – А.Ш.). Зима уже надламывалась. Время к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. "Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда." "Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и что это чувство было сильней всякой молитвы". Вот так и ехал в тихой восторженности.[90]

Приведу еще один пример такого, характерного для поэтики Б. Зайцева-биографа, приема, как бы растворения документа в авторском повествовании:

> Жуковский с Мойером подружились, все желали друг другу счастия и все заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице?

---

89 Там же, стр. 53-54 (разрядка моя, – А. Ш.).
90 Там же, стр. 88.

"Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастия, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его" (из письма Маши, – А. Ш.).

Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера – это надо было придумать![91]

Из приведенной цитаты видно также, что, как жизнеописатель, Борис Зайцев вовсе не равнодушный наблюдатель или простой регистратор событий. Напротив, он, как художник, "сопутствует" своим героям и с ними вместе сопереживает.

Остановлюсь кратко на анализе языка Бориса Зайцева в "Жуковском". Читая эту книгу, можно легко различить в ней как-бы два речевых стиля. Первый – стиль сообщений, информативный, которым автор излагает хронику событий. Отличаясь чрезвычайной простотой и краткостью, этот речевой стиль у Б. Зайцева во многих случаях приближается к стилям разговорной речи, как например:

В конце 1803 года Карамзин отошел от "Вестника Европы" – взялся за "Историю Государства Российского". Журнал передали Панкратию Сумарокову. Тот вел его неудачно. Каченовский, несколько позже, тоже не преуспел. Стало ясно, что если не принять решительных мер, дело погибнет. Вспомнили о деревенском Жуковском. И обратились к нему, как к надежде литературы российской.[92]

Но как только автор переходит к описанию переживаний своих героев, к раскрытию их эмоций в плане внутренней темы, речевая его манера сразу же приобретает другую окраску. Она становится сложнее и богаче словарно; церковнославянизмы, к которым автор иногда прибегает, придают ей некоторую торжественность и приподнятость.

Трепета и остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писании. В плавных гекзаметрах легче ему теперь повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное и глубокое, на само-то искусство бросающее отсвет. "Наипаче ищите царствия Божия" – давний великий зов, проносящийся над русскою литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение

---

91 Там же, стр. 136.

92 Там же, стр. 59.

гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томило, иногда вызывало колебания и сомнения, но росло в нем с годами, как зерно горчичное. "И выросло, и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его".[93]

В книге об "единственном кандидате в святые от литературы нашей" встречаются и другие евангельские изречения и церковнославянизмы: "Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю... и как семя всходит, не знает он", "Вышел сеятель сеять..." "вложить персты", "преклонить главу", брег, древо, житие, нарекли, ибо и др. Вот еще один пример употребления Б. Зайцевым церковнославянизмов:

> Победитель Воейков, Жуковский побежденный. Из них один пойдет под гору, во тьму и сень смертну, другой "из глубины воззвах" будет восходить чистою и прекрасною стезей.[94]

Вообще же, язык и стиль биографии "Жуковский", начиная со словоотбора и кончая синтаксисом, — это язык и стиль художника-импрессиониста. Речь автора часто распадается на ряд кратких предложений с опущенными иногда подлежащими или сказуемыми.

> Светланы никогда более не увидел (Александр Тургенев, — А. Ш.). Считал, что любить ее будет "до конца жизни", но повидимому ошибся. Выкипело раньше, чем думал.
>
> Благородную же заботу о ней и делах ее сохранил до конца. Но уже "с того берега".[95]

Средством художественной выразительности служат автору также многочисленные инверсии, нередко применяемые им даже в информативном речевом стиле. Определения, выраженные притяжательными местоимениями и прилагательными, почти как правило, стоят у Б. Зайцева п о с л е определяемых слов:

> ... а места, где возрастал "любимый его наставник", Александр (наследник престола, — А. Ш.) посетил в духе паломничества. Был в д о м е е г о б е л е в с к о м, где в 1806 году ...[96]

---

[93] Там же, стр. 242.

[94] Там же, стр. 100.

[95] Там же, стр. 150.

[96] Там же, стр. 206-207 (разрядка моя, — А. Ш.).

Значит ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нарви и Геную — путем столь очаровательным, (многим странникам русским так с юности близким)[97]

Здесь Борис Зайцев заговорил о своей любимой Италии, и в суховатый язык сообщения сразу же ворвалась эмоциональная струя, пришло выражение теплоты и растроганности. Речь приобрела ритмическую плавность. Такая тенденция к ритмической плавности свойственна стилевой манере Бориса Зайцева-импрессиониста. Приведу еще один пример, характеризующий стиль Б. Зайцева в этом отношении:

Но потом все это ушло. Побыли сколько надо в Муратове, медленно, длинно в Дерпт возвращались, и возвратились, и жили там целую зиму (разрядка моя, — А. Ш.)[98]

В импрессионистических по стилю фрагментах биографии "Жуковский" обращает на себя внимание также обилие сложных слов и составных эпитетов, написанных слитно, или же через дефис: лучеиспускание, самоуничижение, обоюдоостро, вековечно, бурнопламенная, светоносное, возвышенно-прекрасное, поэтически-пронзительно, нежно-пейзажно-меланхолическое (!) и др. В книге всего около 150 таких слов.

Среди сложных слов много таких, составной частью которых является церковнославянское "благо", относящихся, главным образом, к именным грамматическим категориям: благоденствие, благообразие, благодать, благожелание, благоговейно, благонравный, благодушный, благодетельный, благосклонный и многие другие.

Когда Борис Константинович Зайцев работал над материалом для жизнеописания В. А. Жуковского, он сделал следующую запись:

Когда взволнует читаемое, откладываю, сижу молча. Дуня Киреевская, Александра Воейкова ("Светлана", сестра Маши Протасовой, невесты Жуковского), сам Василий Андреевич Жуковский ("Базиль") — это все свои, наши. Больше столетия нас разделяет. Но они ближе современников. А не любить их нельзя, даже если-бы захотел.[99]

---

97 Там же, стр. 215 (разрядка моя, — А. Ш.).

98 Там же, стр. 154.

99 Борис Зайцев. Дни. "Опыты", №1, стр. 160.

Эти слова – лучшее свидетельство созвучия автора "Жуковского" со своим героем и с "милыми его сердцу". Поэтому-то Б. К. Зайцеву так удалось на страницах своей книги воскресить из давно ушедшего века людей большой любви, преданной дружбы и глубочайшей веры.

В заключение этой главы о "Жуковском" Б. К. Зайцева приведу здесь письмо Бориса Пастернака к автору книги (из Переделкина, от 28 мая 1959 года):

Дорогой Борис Константинович!

Все время зачитывался Вашим "Жуковским". Как я радовался естественности Вашего всепонимания. Глубина, способная говорить мне, должна быть такою же естественной, как неосновательность и легкомыслие. Я не люблю глубины особой, отделяющейся от всего другого на свете. Как был бы странен высокий остроконечный колпак звездочета в обыкновенной жизни! Помните, как грешили ложным, навязчивым глубокомыслием самые слабые из символистов.

Замечательная книга по истории – вся в красках. И снова доказано, чего можно достигнуть сдержанностью слога. Ваши слова текут, как текут Ваши реки в начале книги; и виды, люди, годы, судьбы ложатся и раскидываются по страницам. Я не могу сказать больше, чтобы не повторяться. [100]

---

[100] Это письмо Бориса Пастернака от 28 мая 1959 года к Б. К. Зайцеву было прочитано последним (и записано на магнитную ленту) в Париже, 12 августа 1968 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

"ЧЕХОВ. ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ"

> Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава.
>
> А. П. Чехов

В 1954 году, к пятидесятилетию со дня смерти А. П. Чехова, издательство его имени в г. Нью Йорке выпустило книгу Б. К. Зайцева "Чехов. Литературная биография". Как уже говорилось в первой главе этой книги, подзаголовок "Литературная биография" был сделан издательством без ведома автора. На мой вопрос, почему он решил написать биографию А. П. Чехова, Борис Константинович Зайцев, во время беседы с ним в Париже 9 августа 1968 года, ответил:

> Чехова я немножко лично знал, чуть-чуть, тоже во времена доисторические. Первые свои вещицы я ему подсовывал... Вообще, Чехова я всегда очень любил. Это писатель, которого я и до сих пор высоко ставлю и очень люблю, иногда перечитываю, так что естественно, что я взялся за Чехова.

Еще в автобиографическом очерке "О себе", написанном в 1944 году, Б. К. Зайцев говорил о своей "внутренней родственности" с А. П. Чеховым. Эта "внутренняя родственность" заключается, повидимому, в присущих обоим писателям скромности и сдержанности, правдивости и искренности, в человеколюбии и отталкивании от какой-либо тенденциозности, громких слов и фразерства. Для обоих этих писателей творческая свобода – превыше всего.

Однако, помимо этого созвучия, между автором "Чехова" и героем его произведения есть и глубокое внутреннее

различие. Зайцев – верующий человек, писатель-мистик, основа творчества которого религиозная: все от Бога и во всем Бог. Чехов же часто характеризовал себя как позитивиста и поклонника Дарвина (особенно в молодые годы), не раз высказывался о своем неверии в Бога. Если в 1888 году А. П. Чехов писал Д. В. Григоровичу: "Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет" (разрядка моя, – А. Ш.),[1] то позднее он просто говорил: "Я человек неверующий. . ."[2] Он, как и все "мыслящие люди", ищет –

> истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. По необходимости они могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды, ножи . . . Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит нет и истины.[3]

Борис Зайцев, с его идеалистическим мироощущением, конечно, не разделяет материалистического мировоззрения своего героя. Однако, в некоторых произведениях Чехова Б. Зайцев почувствовал особую внутреннюю настроенность писателя. Биограф Чехова, может быть, даже чисто интуитивно, подметил в этих произведениях такие движения души Чехова, которые позволили ему, в какой-то мере, определить духовный облик писателя словами – "Царство Божие внутрь вас есть". В своей книге Б. Зайцев отнюдь не делает Чехова верующим человеком насильственно. Он только, "дочитывая его до конца",[4] старается проникнуть в душевный мир писателя – горячего сторонника науки и прогресса, вовсе не

---

[1] А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11. ГИХЛ, М., 1963, стр. 255.

В этом же году А. П. Чехов писал А. Н. Плещееву: "Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только. . . . Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались" (Там же, стр. 251-252).

[2] Из письма к М.О. Меньшикову (Там же, т. 12, стр. 361).

[3] Там же, т. 11, стр. 342.

[4] В 1934 году в парижском издательстве YMCA- PRESS вышла книга М. Курдюмова о творчестве Чехова "Сердце смятенное", в введении к которой автор пишет (стр. 11): "Чехова у нас

чуждого и религиозным исканиям. Об этом могут также свидетельствовать интересные воспоминания другого большого русского писателя И. А. Бунина. По его словам, А. П. Чехов –

> Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор:
>
> – Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие – вздор.
>
> Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
>
> – Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это...[5]

Знакомство И. А. Бунина с Чеховым относится к концу 1895 года. Начиная с 1899 года и до конца жизни Чехова, Бунин часто бывал у Чеховых и в Москве и в Ялте. В своих воспоминаниях Бунин также пишет, что Чехов "последнее время часто мечтал вслух: – Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот. . ."[6]

Борис Зайцев, как биограф Чехова, с одной стороны, признает: "Надо сказать прямо – у него не было веры (т.е. основного чувства, идущего из недр: все правильно, с нами Бог)",[7] с другой же, считает, что "в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее непохожее, это

просто не дочитали до конца. Не дочитали и не заметили, что он выходит очень далеко, за пределы отведенной ему эпохи, за пределы всеми признанных "чеховских тем". Не узнали в нем русского художника огромной силы и огромного внутреннего масштаба, который мало интересовался "течениями прогрессивной мысли" именно потому, что все его творчество зрелого периода... стоит основами своими как раз в центре так называемых "вечных" русских вопросов, над разрешением которых подвизался Достоевский".

[5] И. А. Бунин. О Чехове. Изд. им. Чехова, Нью Йорк, 1955, стр. 99.

[6] Там же, стр. 99.

[7] Борис Зайцев. Чехов. Изд. им. Чехова, Нью Йорк, 1953. стр. 85.

мы увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего, может быть, сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукой заменить религию, и сам не очень то понимал".[8]

Вот этому то "всматриванию" в жизнь Чехова и в его творчество, сопоставлению фактов жизни писателя с внутренними движениями его души и уделяет автор много страниц своей книги о Чехове.

Как и в "Жизни Тургенева" и в "Жуковском", в жизнеописании Чехова Борис Зайцев следует традиционной композиционной схеме жанра биографии: начиная с родословной своего героя, он заканчивает повествование его смертью. В "Чехове", однако, такое повествование продлевается рассказом (личным воспоминанием Б. Зайцева) о погребении Чехова. Затем, в отличие от "Жизни Тургенева" и "Жуковского", в книге "Чехов" за заключительной главой "Последнее путешествие" следуют от-авторские добавления и заметки к некоторым главам книги, которые как-бы уточняют высказывания автора и потверждают документальную обоснованность его труда.

Книга о Чехове написана Б. Зайцевым на основе переписки и творчества писателя, воспоминаний его родственников и современников. В личной беседе, 9 августа 1968 года в Париже, Б. К. Зайцев сообщил, что он также знаком с книгой В. Ермилова "А. П. Чехов", но "она мне ничего не дала", – добавил он.

В биографии "Чехов" Борис Зайцев приводит много цитат из документальных материалов, изредка указывая их источники – не в сносках, а в самом тексте биографии. Из произведений Чехова особое внимание уделено автором книги тем, которые могут служить ключом к освещению духовного облика писателя: "Степь", "Скучная история", "Убийство", "Студент", "Дуэль", "Мужики", "В овраге", "Архиерей" и др.

К воссозданию образов Тургенева и Жуковского Борис Зайцев подошел, главным образом, как художник-импрессионист. Этого нельзя в полной мере сказать о жизнеописании

---

8 Там же, стр. 14 (разрядка моя, – А. Ш.).

Чехова. Его образ Борис Зайцев рисует настолько осторожно и сдержанно, что создается впечатление: художник Зайцев борется с Зайцевым-добросовестным жизнеописателем.

Повествование о жизни Чехова (глава первая – "Даль времен") начинает Зайцев – импрессионист. Он приводит родословную своего героя, в то же время овеивая какой-то легендой "династию Чеховых", уходящую своими корнями в XVIII век. Торжественно, в житийном стиле, звучит зайцевский рассказ о рождении Антона Чехова:

> В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы – великую свою родину.[9]

Детство маленького Чехова проходит в суровой семейной обстановке, где абсолютный владыка – строгий, фанатичной веры отец, скорее убивавший в своих детях религиозное чувство, чем возбуждавший его. Уже в зрелые годы А. П. Чехов вспоминал свое детство:

> Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. Что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио "Да исправится" или же "Архангельский глас", на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками.[10]

Однако, как предполагает Б. Зайцев, несмотря на принудительно религиозное воспитание, имевшее скорее обратное действие на детей Чеховых, близость к церкви не могла не оставить следа в душе мальчика Антоши Чехова.

> И все-таки, все-таки... – если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте сидел где-то в глубине поэт (а откуда он взялся бы ни с того ни с сего позже?) – неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял "Иже херувимы" или "Чертог Твой вижду"?

---

9 Борис Зайцев. Чехов, стр. 8.

10 Из письма А. П. Чехова от 9 марта 1892 г. к писателю И. Л. Леонтьеву-Щеглову (А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 535-536).

Не могло ли быть ведь и так, что наружный гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как кобчики кормят детенышей в решетке окна, и думал – поскорей бы отпеть, удрать к морю ловить бычков с рыбаками или гонять голубей, но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем.[11]

Описывая детские и гимназические годы Антоши Чехова, Зайцев-художник часто уступает место Зайцеву-объективному биографу. И уже последний, несколько суховатым языком, приближающимся к языку сообщений, рассказывает до конца повесть о жизни Чехова, в которую Зайцев-художник лишь изредка вкрапливает то пейзажную зарисовку (обычно, очень скупую), то диалог, то бытовую картину. По ходу повествования автор отмечает некоторые эпизоды из жизни своего героя, которые могут, в той или иной мере, подтвердить, что "общение с великим и святым" в детстве дало в зрелом возрасте какие-то ростки в душе писателя. Вот в 1887 году двадцатисемилетний доктор и уже известный писатель Антон Павлович Чехов предпринял поездку на юг России: в родной Таганрог, Донецкий кряж, Славянск, а из Славянска – в монастырь Святые горы. И Борис Зайцев размышляет: "На что доктору Чехову монастыри? Там ведь население вроде "глупенького" отца Христофора. Но вот Чехову - художнику оказались зачем-то нужны".[12]

В следующем году Чехов побывал на Новом Афоне и стал затем мечтать о поездке на Старый Афон. И снова

---

[11] Борис Зайцев. Чехов, стр. 13-14.

В своих воспоминаниях о детских годах мальчиков Чеховых Александр Павлович Чехов, брат писателя, пишет: "Единственным развлечением мальчиков во время обедни в летнее время было следить за жизнью и работой кобчиков. С хор, на которых помещались певчие, были видны небольшие круглые окна второго яруса в стенах церкви. Просветы этих окон были заделаны решетками, и тут, в петлях этих решеток, кобчики-хищники вили свои гнезда и выводили птенцов. Птенцы обыкновенно сидели в гнездах смирно, но когда родители, прилетая с лова, приносили в клювах мышь или какого-нибудь другого мелкого зверька, то они поднимали резкий и неприятный писк и принимались терзать своими клювами принесенную добычу" (В кн.: Чехов в воспоминаниях современников. ГИХЛ, М., 1952, стр. 36-37).

[12] Борис Зайцев. Чехов, стр. 78.

Б. Зайцев подчеркивает: "Русскому интеллигенту того времени, поклоннику Дарвина, мало подходящ вековой Афон. Но вот была же в Чехове какая-то подземная струйка..."[13]

Задуматься же над целью человеческого бытия и над смыслом жизни вообще заставила А. П. Чехова смерть брата Николая в 1889 году. Она потрясла писателя настолько, что он долго не мог освободиться от нахлынувших на него тяжелых дум. Это смутное душевное настроение вылилось в повести "Скучная история". Кратко излагая содержание повести, Борис Зайцев так комментирует душевное состояние умирающего профессора: "Смерть близится, а ничего за душой. Пустота, уныние, мрак".[14] У него, казалось бы умудренного знанием науки и жизни, ищут поддержки и совета дочь Лиза и воспитанница Катя –

> Ну что может дать им, молодым и незнающим, что делать и куда идти, этот Николай Степанович, профессор медицины, грудь которого так увешана орденами, что студенты называют его иконостасом, – когда он и сам н и ч е г о н е з н а е т. У него есть только наивная вера в науку ("... она всегда была и будет высшим проявлением любви") и "судьбы костного мозга интересуют" его "больше, чем конечная цель мироздания". Но вот и оказывается, что в некоем отношении все это ничего не дает. "Нет общей идеи", говорит он. Общей идеи! Не лучше ли сказать – веры. Основной интуиции: есть Бог, и мир создан не зря.[15]

Когда же Катя едет следом за профессором в Харьков с тем же настойчивым вопросом "что делать?", он, как пишет Б. Зайцев: "в бессилии ничего не отвечает. Она уходит. "Прощай, мое сокровище!" – собственно лишь ее он сейчас любит".[16] В преддверии смерти, при полном крушении всех прежних убеждений, патетичен этот стон любви к страдающей Кате, излившийся из глубин сердца старого профессора в прощальных невысказанных словах – "Прощай, мое сокровище!" Зайцев сумел прочесть чеховский подтекст, оставшийся незамеченным многими критиками и исследователями творчества Чехова. Не обратил внимания на этот "крик

---

[13] Борис Зайцев. Чехов, стр. 84.

[14] Там же, стр. 87.

[15] Там же, стр. 87-88.

[16] Там же, стр. 88.

сердца" (как и на авторское сострадание своим героям) и известный философ Лев Шестов, разбирая "Скучную историю" в своей статье "Творчество из ничего". Он сделал только один вывод о творчестве А. П. Чехова, а именно: "Упорно, уныло в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов одно и делал: тем или иным способом убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его творчества". И далее добавил: "Наука отняла у него (Чехова, – А Ш.) все: он осужден на т в о р ч е с т в о и з н и ч е г о".[17]

Зайцев же увидел в "Скучной истории" скорее торжество духа, хотя, может быть, и бессознательное:

> Писатель совсем, собственно, молодой (хотя очень рано развившийся), взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не сознавая того, п о х о р о н и л м а т е р и а л и з м, о котором всегда отзывался с великим уважением. Х у д о ж н и к и ч е л о в е к Ч е х о в у б и л д о к т о р а Ч е х о в а.[18]

Вообще, как считает Борис Зайцев, "христианский мир отца и матери (в особенности), скрыто в нем (Чехове, – А.Ш.)

---

[17] Лев Шестов. Творчество из ничего. "Мосты", №5, Мюнхен, 1950, стр. 122, 146 (разрядка моя, – А. Ш.).

Интересно отметить, как понимает термин "творчество из ничего" другой русский философ – Николай Бердяев: "Творчество есть творчество из ничего, т.е. из свободы. . . . Творческий акт человека нуждается в материи, он не может обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна творчества. В этом смысле творчество есть творчество из ничего" (Николай Бердяев. Самопознание. Изд. YMCA-PRESS, Париж, 1949, стр. 231-232).

[18] Борис Зайцев. Чехов, стр. 88 (разрядка моя, – А. Ш.).

Хочу привести здесь характерный пример интерпретации "Скучной истории" советскими критиками: "Работать для науки и для о б щ и х и д е й – это-то и есть личное счастье". Так считал великий писатель. "Скучная история" – это произведение, в котором впервые с особенной последовательностью проявилось материалистическое мировоззрение Чехова" (Е. В. Меве. Медицина и творчество в жизни А. П. Чехова. Государственное и медицинское изд-во, УССР, Киев, 1961, стр. 156).

произростал",[19] и христианская настроенность души писателя иногда прорывалась в искусстве. В реальной же жизни она выражалась в служении ближним: безвозмездное лечение больных, устройство школ, библиотек и т.д.

В этом же духе – "Возлюби ближнего твоего" – была совершена Чеховым поездка на остров Сахалин, и здесь, как пишет Борис Зайцев, "зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по евангельски на "добрую землю". То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло".[20]

"Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие", – говорит автор биографии. "Dieu dans ses pauvres": в начале 90-х гг. Чехов устраивает сборы в пользу голодающих; затем, как участковый врач Серпуховского земства, организует и строит санитарные бараки, готовясь к борьбе с надвигающейся холерой, борется с эпидемиями тифа, скарлатины и дифтерита.

Известны письма А. П. Чехова той поры, по которым можно судить, что он не всегда безропотно и терпеливо исполнял это служение ближним. Некоторые из этих писем Б. Зайцев цитирует. Например:

> "Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь..."[21]

"Но зачем же тогда служить?– спрашивает Борис Зайцев и, не давая ответа, продолжает: – От вознаграждения он отказался, между тем сам в долгах по имению и из гонораров ему вычитывают в погашение долга, а вот не может успокоиться, благодушествовать в удобном доме, все куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой".[22]

Вероятно, на чеховских письмах этого периода отразилось физическое и душевное напряжение их автора, т.к. приблизительно через два месяца – 10 октября 1892 года, –

---

19 Борис Зайцев. Чехов, стр. 94.

20 Там же, стр. 104.

21 Там же, стр. 129

22 Там же, стр. 129-130.

когда опасность холерной эпидемии миновала, Антон Павлович писал А. С. Суворину уже в другом тоне:

Летом трудненько жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это. Несмотря на холерную сумятицу и безденежье, державшее меня в лапах до осени, мне нравилось и хотелось жить. Сколько я деревьев посадил! . . . Служил я в земстве, заседал в Санитарном совете, ездил по фабрикам – и это мне нравилось.[23]

Этого письма Зайцев не приводит в "Чехове", но, видимо, знаком с его содержанием и поэтому продолжает утверждать: "Богу "в Его отверженных" Чехов служил усердно".

Однако, служение ближним не внесло полной ясности и гармонии в духовный мир писателя, о чем, по мнению Бориса Зайцева, свидетельствуют письма Чехова.[24] И биограф Чехова считает, что внутренне все равно оставалась "давняя тоска по Божеству. О. Христофор ("Степь", – А.Ш.) знал нечто всем существом, чего нехватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел".[25]

Эта "тоска по Божеству" находила иногда выход в творчестве Чехова. Борис Зайцев отмечает, например, глубоко христианскую направленность чеховской "Дуэли". Называя повесть "светлой и милостивой, доброй и трогательной, способной действительно целить раны, врачевать и подымать душу", Зайцев пишет: "Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский: "во едином часе" может человеческая душа спастись, повернуть на сто восемьдесят градусов".[26] В изображении же молодого дьякона, простодушием своим взявшего перевес над ученым зоологом фон Кореном и повернувшего ход повести к "очистительной развязке" – "Чехов будто совсем забыл, как сам

---

23 А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 573.

24 Б. Зайцев обосновывает свое мнение на письме Чехова от 25 ноября 1892 года к А. С. Суворину (А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 581-583), в котором он говорит об отсутствии целей у современных писателей, включая его самого. Свою душевную пустоту Чехов называет болезнью, которая, вероятно, "имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром. . .". Б. Зайцев приводит несколько выдержек из этого письма.

25 Борис Зайцев, Чехов, стр. 132.

26 Там же, стр. 118-119.

увлекался Дарвином, как спорил с Сувориным, защищая материализм".[27]

Еще ощутимее выражена христианская настроенность души Чехова в рассказе "Студент". В нем, полагает Б. Зайцев, Чехов сказал –

> самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах (в них иной раз противоположное, но это на словах, "для разума"). Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова – этой весной 1894 года ему открывалось (явно), что "правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле". Христова правда составляла главное![28]

Борис Зайцев, бесспорно, связывает чувства и мысли чеховских героев с их создателем. В этом с ним соглашается такой советский писатель, как Илья Эренбург. Имея ввиду творчество Чехова вообще, Эренбург говорит:

> Как все писатели, Чехов часто вкладывал в уста героев свои собственные мысли и, как почти все писатели, не любил, когда мысли, высказанные героями, приписывались автору.
>
> . . . .
>
> Я думаю, что можно установить прямую связь между Чеховым и многими из его героев. . . Искусство требует не только наблюдений над жизнью, но и участия в ней. Можно сколько угодно говорить о прототипах литературных героев, это интересно, даже поучительно; но не следует забывать о постоянном прототипе, имя которого – автор.[29]

---

[27] Там же, стр. 117.

[28] Там же, стр. 143.

А вот другое мнение. Разбирая рассказ "Студент" и называя его "одним из творческих шедевров" Чехова, известный советский критик А. Дерман в книге "Творческий портрет Чехова" (изд. "Мир", М., 1929, стр. 320-322) определяет его так: "В двух словах – это иронически-материалистический рассказ позитивиста о том, как складывается и меняется настроение".

[29] Илья Эренбург. Перечитывая Чехова. Собрание сочинений в девяти томах, т. 6. Изд. "Художественная литература", М., 1965, стр. 160, 174.

"Участие" автора, а по Зайцеву – его бессознательная внутренняя христианская настроенность, углублявшаяся с годами и развитием смертельной болезни, сказались в создании Чеховым таких светлых и смиренных образов, как: о. Христофор ("Степь"), Липа и Варвара ("В овраге"), предшественница Варвары – Ольга ("Мужики"), преосвященный Петр ("Архиерей") – "Это был несознанный свет высшего мира, Царствия Божия, которое "внутрь вас есть".[30]

В начале заключительной главы биографии, описывающей последние годы и смерть Чехова, Борис Зайцев как бы подводит итог своим попыткам раскрыть духовный облик писателя:

> В вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное – зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так остался до конца. "Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью". Он и искал – вряд ли нашел.[31]

Заключение Бориса Зайцева в большой мере совпадает со словами д-ра И. Альтшуллера, близко знавшего и лечившего А. П. Чехова в Ялте с 1898 года. В своих воспоминаниях о Чехове доктор пишет:

> Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями и то не за каждый год дневнике, отметил: "Между "есть Бог" и "нет Бога" лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего, или очень мало". Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.[32]

Заканчивая эту часть моей главы о попытке Б. Зайцева осветить вопрос веры или неверия Чехова, хочу заметить,

---

30 Борис Зайцев. Чехов, стр. 227.

31 Там же, стр. 233.

32 И. Альтшуллер. О Чехове. (Из воспоминаний). "Современные Записки", № XLI, 1930, стр. 479.

что он почему-то не включил в перечень произведений Чехова, указывающих на христианскую настроенность их автора, рассказы: "Кошмар", "Святою ночью", "Пари". Между тем, в них выведены такие характерные образы, как нищий и униженный, но сохранивший глубокую веру в Бога священник Яков, кроткий монах-поэт,[33] или юрист, проведший в добровольном заключении пятнадцать лет, но отказавшийся от выигранных миллионов, поняв, что "все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж", обезумевшие люди "променяли небо на землю".[34] А эти образы могли бы способствовать раскрытию и воссозданию более полного и убедительного духовного облика А. П. Чехова.[35]

В биографиях Тургенева и Жуковского Борис Зайцев уделял много внимания "жизни сердца" своих героев. В сущности, тема любви сквозным мотивом прошла через зайцевское жизнеописание этих писателей. В книге о Чехове, однако, тема любви не получила развития, хотя некоторая предпосылка к нему и дана была автором еще в первой главе биографии. Так, рассказывая о гимназисте Антоше Чехове, Борис Зайцев выделяет один эпизод в ранней жизни будущего писателя:

> Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние.
>
> Вот стоит он, в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение . . .
>
> Стоит и задумался. Подходит пятнадцатилетняя девочка, пришла за водой. "И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал". Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южно-русской

---

33 Сам А. П. Чехов писал Суворину об этом своем герое: "Мережковский моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел. . ." (А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 282).

34 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 6, стр. 256, 257.

35 Проф. Р. Плетнев считает, что А. П. Чехову, как и Тургеневу, были знакомы "касания мирам иным", о чем свидетельствует хотя бы рассказ "Черный монах", кстати, тоже не упомянутый Б. Зайцевым в книге о Чехове (Р. Плетнев. Книга о Чехове. "Грани", №23, Frankfurt-Main, 1954, стр. 144).

степи не заплакал, а обнял и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать — взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно.[36]

В последующих главах Борис Зайцев, однако, не затрагивает больше этой темы. О личной жизни Чехова вообще известно очень мало. В своих воспоминаниях о нем д-р Альтшуллер пишет: "От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроении, приходилось иногда слышать, как, случалось, он с приятелями в молодости веселился. Но я никогда не слышал ни от него самого, ни от других ни про одно его серьезное увлеченье".[37] Поэтому, вероятно, Зайцев и уделил этому вопросу так мало места в своей книге о Чехове. Тем не менее, "серьезные увлечения" все-таки были в жизни А. П. Чехова. Одним из них можно, вероятно, считать Лидию Стахиевну Мизинову. "Прекрасная Лика", как ее за редкую красоту называли в семье Чеховых, в которой она стала бывать с 1889 года, была одаренной пианисткой и певицей. О любви Лики к А. П. Чехову говорят ее письма к нему. О настоящих же чувствах Чехова трудно судить по его полусерьезным-полушуточным письмам. Однако, его сестра — Марья Павловна Чехова, — дружившая в свое время с Ликой, оставила воспоминания, которые несколько определяют отношение Чехова к Лике: "Я не знаю, что было в душе брата, но мне кажется, что он стремился побороть свое чувство к Лике".[38]

Роли Л. С. Мизиновой в жизни Чехова Борис Зайцев посвящает в биографии писателя отдельную главу, озаглавленную "Лика, "Чайка". Однако, эта глава — не воссоздание сложных отношений любви Лики к Чехову, уже известному писателю, и его к ней противоречивых чувств, а скорее — краткий отчет о них. Основываясь на их переписке, из которой в книге "Чехов" приводится довольно много цитат, Борис Зайцев приходит к выводу:

---

36 Борис Зайцев. Чехов, стр. 19

37 И. Альтшуллер. О Чехове. (Из воспоминаний). "Современные Записки", № XLI, стр. 482.

38 М. П. Чехова. Из далекого прошлого. ГИХЛ, М., 1960, стр. 144.

И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако, вся эта история в душе и художестве Чехова как бы продолжалась – родила "Чайку" и весь чеховский театр: событие и для самого Чехова и для российской литературы немалое.[39]

Ту же мысль, но несколько в измененной форме, высказывает Зайцев и в главе "О любви. – Книппер": "Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в "Чайку".[40]

"Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? – Думаю, что нет", – записал о Чехове Иван Бунин. Но, после выхода в свет воспоминаний Л. А. Авиловой "А. П. Чехов в моей жизни", И. Бунин добавил: "Нет, была. К Авиловой".[41]

Борис Зайцев, однако, критически отнесся к намекам Авиловой о взаимной "любви с первого взгляда". На основании переписки Авиловой с А. П. Чеховым он пришел к заключению: "Что она его полюбила – бесспорно", но о его чувстве – "В письмах Чехова к ней ничего не найдешь".[42] Авиловой Зайцев уделил в своей книге о Чехове всего лишь три страницы – это, очевидно, показатель его скептического отношения к утверждениям о большом месте этой женщины в личной жизни А. П. Чехова.

---

39 Борис Зайцев. Чехов, стр. 149-150.

В своем исследовательском труде о прообразе "Чайки" – Лике Мизиновой Леонид Гроссман пишет, что вдохновительницей темы серенады Брага в рассказе "Черный монах" была Лика Мизинова, не раз певшая в Мелихове романсы, из которых некоторые названы в рассказах А. П. Чехова, например, в "Ионыче", в "Моей жизни". Леонид Гроссман называет также двух других женщин – актрису труппы Ф. А. Корша Л. В. Яворскую и учительницу музыки А. А. Похлебину, – с которыми одно время связывали имя Чехова и которые вызывали у Лики чувство ревности (Леонид Гроссман. Роман Нины Заречной. "Прометей", т. 2. Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", М., 1967, стр. 218-289).

40 Борис Зайцев, Чехов, стр. 211.

41 И. А. Бунин. О Чехове, стр. 134.

Л. А. Авиловой удалось ввести в заблуждение некоторых биографов. Например, Давид Магаршак объясняет отъезд Чехова на Сахалин его безнадежной любовью к Авиловой – замужней женщине, матери семейства (David Magarshack, *Chekhov*, New York: Grove Press, 1952, p. 174).

Однако, Симмонс в своей книге о Чехове рассеивает этот миф (Ernest J. Simmons, *Chekhov*, Boston: Little Brown & Co., 1962, pp. 208-209).

42 Борис Зайцев. Чехов, стр. 212.

С 1898 года в творчестве А. П. Чехова чувствуется, по словам Б. Зайцева, настоящая "тоска по любви". Выход этой тоске дала потом сама жизнь: с 1900 года в жизнь писателя прочно вошла артистка Московского Художественного театра Ольга Леонардовна Книппер. Борис Зайцев повествует затем о любви и женитьбе Чехова, о частых разлуках с женой, о его последних днях на земле. Все это, однако, больше информация, чем творческая переработка документального материала.

Совсем в другой тональности написаны заключительные страницы биографии – описание встречи праха А. П. Чехова на московском Николаевском вокзале и его погребения на кладбище Новодевичьего монастыря. Борис Зайцев, тогда еще двадцатитрехлетний начинающий писатель, присутствовал на похоронах А. П. Чехова. В результате появилось проникновенное описание "последнего путешествия" и пейзаж, каких мало в книге "Чехов".

> Этот день так и остался некиим странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим – само горе просветляло.
>
> У Художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола.
>
> Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа – это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он ходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок.[43]

Вообще, на протяжении всего своего рассказа о жизни Чехова Борис Зайцев время от времени переходит к личным воспоминаниям, что придает повествованию характер непринужденности и некоторой интимности. Б. Зайцев вспоминает, например, как он, по газетному объявлению о продаже Мелихова, ездил осматривать это имение, но, по его откровенному признанию, не столько в качестве возможного покупателя, а скорее как восторженный поклонник таланта А. П. Чехова. Воспоминания о нескольких личных встречах

---

43 Там же, стр. 242-243.

юного студента Бориса Зайцева с уже признанным, большим художником и доброжелательным ментором многих начинающих писателей того времени написаны с любовью и проникновением.

На основании личных же впечатлений Б. Зайцев дает также портретные зарисовки безнадежно больного писателя. В жаркий летний день 1899 года, когда молодой Зайцев пришел к Чехову относительно покупки Мелихова, его встретил "худощавый человек в пенснэ, с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничек пиджака поднят, будто ему холодно и он кутается, а была попросту жара".[44]

Прошло четыре года. Декабрь 1903 года. Уже другой Чехов приехал к Телешову на очередную "Среду": "... серо-зеленоватый, со впалой грудью... болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то, чтобы старость, но некоторое отдаление от жизни".[45]

Это немногословное описание внешности писателя, обреченного на преждевременную смерть, противопоставляется Б. Зайцевым образу "здорового, краснощекого" Чехова – гимназиста и студента. Портрет юного и молодого весельчака Антоши Чехова Борис Зайцев рисует, главным образом, по дошедшим до нас фотографиям. "Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе",[46] – пишет Борис Зайцев.

* *
*

Воссоздавая образ А. П. Чехова и рисуя окружающую его среду, Борис Зайцев в основном применяет те же творческие приемы, что и в предшествуюших биографиях: "Жизнь Тургенева" и "Жуковский".

В книге "Чехов", например, тоже нет вымышленных лиц. Б. Зайцев отмечает встречи и общение писателя с такими известными и замечательными его современниками,

---

44 Там же, стр. 175.

45 Там же, стр. 239.

46 Там же, стр. 19. Подобных описаний внешности Чехова в юности и молодости в книге Б. Зайцева несколько: стр. 10, 29, 30, 44, 65.

как редактор-издатель юмористического журнала "Осколки" и автор книги "Наши за границей" Н. А. Лейкин,[47] поэт А.Н. Плещеев, беллетрист И. Н. Потапенко, редактор крупнейшей столичной газеты "Новое время" А. С. Суворин, писатель И. Л. Леонтьев-Щеглов, Н. Д. Телешов, художник-пейзажист И. И. Левитан, Максим Горький, Лев Толстой, Ф. А. Корш, В. И. Немирович-Данченко, К. С. Алексеев-Станиславский, актеры и актрисы Художественного театра и др. Большинство из них лишь названы в книге о Чехове и только некоторые кратко описаны и охарактеризованы автором биографии. Вообще же, характеристики и портреты современников Чехова много бледнее аналогичных портретных зарисовок, данных в "Жизни Тургенева" и "Жуковском". Может быть, наиболее ярко и живо написан портрет А. Н. Плещеева:

> Плещеев так же, как Суворин, весьма Чеховым восхищавшийся, был очень благодушный, "идейный" барин, в литературе очень понимавший, сам же поэт весьма посредственный и "честный", типа "вперед на бой, в борьбу со тьмой". В молодости был петрашевцем. Вместе с Достоевским стоял на эшафоте и навсегда приобрел нимб.[48]

Всего несколькими словами охарактеризован В.И. Немирович-Данченко: "Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомыслящим, свежим и смелым".[49]

А вот внешний и психологический портрет А. С. Суворина, написанный, видимо, по фотографии:

> Суворин был человек любопытный, одаренный, из русских самородков и самоучек, с блестящей, но отчасти искаженной судьбой. Именно эти успехи, "Новое время", политика, правительственный Петербург, деньги в конце концов отравили его. Глядя на это умное, русско-народное лицо с широкими скулами, глазами не без лукавства, на бороду с проседью, длинный сюртук, сразу скажешь — особенный человек.[50]

---

[47] Журнал "Осколки", в котором А. П. Чехов с 1882 года по 1887 г. напечатал более 200 рассказов, был для писателя, по его словам, литературной "купелью", а Лейкин – его "крестным батькой" (Письмо А. П. Чехова к Н. А. Лейкину от 27 декабря 1887 г. – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, серия вторая, т. 13. ГИХЛ, М., 1948, стр. 407).

[48] Борис Зайцев. Чехов, стр. 81.

[49] Там же, стр. 180.

[50] Там же, стр. 80.

Как и в "Жизни Тургенева" и в "Жуковском", положения, реконструированные Борисом Зайцевым в книге о Чехове, распадаются на несколько групп:

а. Положения, адекватные документам.

Вот как, например, описывает Борис Зайцев случай из жизни уже тяжело больного, женатого А.П. Чехова в Москве (осень 1902 года) – по воспоминаниям Т. Л. Щепкиной-Куперник:

Б. Зайцев – "Чехов":	Воспоминания Щепкиной-Куперник:
Вот сидит он у себя в московской квартире, вечер. У него Щепкина-Куперник, кума, веселая, живая, как бывала в Мелихове. Ольга Леонардовна собирается в концерт, там читает. За ней заезжает Немирович, во фраке, белом галстухе, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в бальном платье, возбужденная и духовитая – Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает будто присутствует, а потом вдруг "без всякой связи с предыдущим: – Пора, видно, кума, помирать".[51]	В тот вечер, что я пришла к Чехову, О. Л. участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Немирович-Данченко во фраке с безупречным белым пластроном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяла тонкими духами, ласково и нежно простилась с А. П., сказав ему на прощанье какую-то шутливую фразу, чтобы он без нее не скучал и "был умником", – и исчезла. А. П. поглядел ей вслед. сильно закашлялся и долго кашлял. Поднес свою баночку к губам и, когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей: – Да, кума... помирать пора.[52]

Впечатления А. П. Чехова от поездки на Новый Афон в конце июля 1888 года кратко передаются Б. Зайцевым по письму писателя к А. С. Суворину.

Б. Зайцев – "Чехов":	Из письма А. П. Чехова:
Был на Новом Афоне. Черноморское побережье, мир полутропический раскрылся перед	Ночь ночевал в монастыре "Новый Афон", а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удиви-

[51] Там же, стр. 236.

[52] Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове. В кн.: Чехов в воспоминаниях современников. ГИХЛ, М., 1952, стр. 294-295.

ним. Сколько невиданного, роскошного в природе, сколько встреч, впечатлений! На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским. Этот не заевшийся: верхом на лошади скромно объезжает епархию. Через несколько лет в "Дуэли"мелькнет его привлекательный облик.[53]

тельная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное – горы, горы и горы без конца и краю...

. . . .

На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, ездящим по епархии верхом на лошади. Любопытная личность. Купил матери образок, который привезу.[54]

А вот случай из жизни молодого, жизнерадостного, еще не подозревающего о роковой болезни А. П. Чехова в Бабкине, где семья Чеховых провела три лета 1885-87 гг.

Б. Зайцев – "Чехов":

В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь "Налима" или "Дочь Альбиона", лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен, в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку – будить и пугать Левитана.

Из воспоминаний М.П. Чехова:

. . . Воскресенск и Бабкино сыграли выдающуюся роль в развитии дарования Антона Чехова... Между прочим, рассказом "Смерть чиновника" Антон Чехов обязан случаю, рассказанному В. П. Бегичевым (директор императорских театров, часто бывавший у владельцев Бабкина Киселевых,– А. Ш.) и действительно имевшему место в Большом театре.

---

[53] Борис Зайцев. Чехов, стр. 84.

"Этот не заевшийся..." – Б. Зайцев берет эти слова из характеристики, данной Чеховым художнику Айвазовскому: "...помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем" (Из письма А. П. Чехова к М. П. Чеховой – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 234).

Дьякон в "Дуэли" рассказывает: "Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади. . . Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия" (А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 6, стр. 439).

[54] А. П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 235-236.

Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.

Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, "доктор Чехов" прибил над дверью вывеску:

– "Ссудная касса купца Левитана".

И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими, в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уже в могиле).[55]

"Налим" происходил в натуре – при постройке купальни, "Дочь Альбиона" – мисс Матьюз, гувернантка приезжавших в Бабкино гостей. . . .

. . . .

Случилось так, что дождь лил несколько дней подряд . . . Пришла из Максимовки жена горшечника пожаловаться на свои болезни и сообщила, что ее жилец Тесак (Исаак) Ильич захворал. . .

. . . .

Мы – А. П., брат Иван и я – надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Спустились вниз, перешли по лавам через речку, долго шлепали по мокрым лугам и затем по болоту и, наконец, вошли в дремучий дарогоновский лес. . . .Отыскали избу горшечника, которую узнаем по битым вокруг нее черепкам, и, не постучавшись и не окликнув, вламываемся к Левитану, чтобы сделать ему сюрприз, и направляем на него фонарь.

Левитан вскакивает, хватает револьвер и наводит его на нас..

А несколько времени спустя он переселился к нам в Бабкино и занял отдельный маленький флигелек. . . .

А. П. написал вывеску и прибил ее над дверью флигелька: "Ссудная касса купца Левитана".[56]

Сентенции от автора, вроде приведенной выше в отрывке из зайцевского текста (в скобках), нередки в книге о Чехове.

---

[55] Борис Зайцев. Чехов, стр. 44-45.

[56] М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах. В кн.: Чехов в воспоминаниях современников, стр. 52-54.

В биографии "Чехов" можно также найти и другие основанные на документальных материалах реконструкции бытовых картин. Эпизоды из детства А. П. Чехова, например, воспроизведены по воспоминаниям братьев писателя: Александра Павловича и Михаила Павловича Чеховых; некоторые сцены из жизни Чеховых в Мелихове – по воспоминаниям Т. Л. Щепкиной-Куперник.

б. Положения – компиляция нескольких документов.

По письмам А. П. Чехова к сестре – М. П. Чеховой и к И. Л. Леонтьеву-Щеглову Борис Зайцев описывает жизнь писателя на даче у Сувориных, в Феодосии (в июле 1888 г.).

Б. Зайцев – "Чехов":	Из писем А. П. Чехова:
В июле 1888 г. он уехал к Суворину в Феодосию. Жарился там на солнце, купался в море "нежной синевы"... – и целыми днями философствовал с Сувориным. Это Россия того времени. Русский писатель конца века мог с утра разглагольствовать о Боге, мире, человеке, добре, зле... – и до позднего вечера. На роскошной даче Суворина шла праздная жизнь. Много ели, пили, ездили в гости, принимали. Чехов в это время сам увлекался Сувориным ("Это большой человек"). Нравилась ему и его жена Анна Ивановна, женщина, видимо, своеобразная. То болтала вздор, то вдруг начинала говорить умно и самостоятельно.[57]	. . . Живу в Феодосии у генерала Суворина. Жарища и духота невозможные .... Остается одно – купаться. И я купаюсь. Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной девушки.... Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых... Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек.[58] . . . Суворин тоже ничего не делает, и мы с ним перерешали все вопросы. Жизнь сытая, полная, как чаша, затягивающая... Кейф на берегу, шартрезы, крюшоны, ракеты, купанье, веселые ужины, поездки, романсы . . . . Видаю много женщин; лучшая из них – Суворина. Она так же оригинальна, как и ее муж, и мыслит не по-женски. Говорит много вздора, но если захочет говорить серьезно, то говорит умно и самостоятельно.[59]

[57] Борис Зайцев. Чехов, стр. 83.

[58] Из письма А.П. Чехова к И.Л. Леонтьеву-Щеглову. (А.П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 232).

[59] Из письма А.П. Чехова к М. П. Чеховой (Там же, стр. 233-234).

в. Положения "творчески домысленного" характера.

Иногда автор биографии, как бы отталкиваясь от документа (в данном случае – воспоминаний М. П. Чехова), раскрывает душевную настроенность своего героя. Вот, например, описание дней в имении Богимово, в котором А. П. Чехов провел лето 1891 года, и пейзаж которого тоже реконструируется автором.

Б. Зайцев – "Чехов":

Окружение старины, барства, природы, поэзии – что же лучше для отдыха. Но отдых здесь был более внутренний, чем внешний. Можно думать, что в рамке чудесного дома, парка, прудов, в воздухе благожелания и дружественности чувствовал себя Антон Павлович хорошо. Но сейчас же засел за работу . . . .

В этом Богимове вставал около пяти утра, брат Михаил варил ему кофе в особенном кофейнике, он его пил и засаживался писать – не на столе, а как-то ухитрялся на подоконнике. Окно выходило в парк. Дрозды перепархивали, тянуло влагой и благоуханием: где-то липы цветут. В цветнике разные левкои, маргаритки, львиные пасти.[60]

Из воспоминаний М. П. Чехова:

. . . мы увидали себя в великолепной запущенной барской усадьбе Богимове, с громадным каменным домом, в котором останавливалась еще Екатерина II, когда ехала к Потемкину на юг, с бесконечными липовыми аллеями, уютной рекой, прудами, водяной мельницей и пр. и пр. . . . Каждое утро А. П. поднимался чуть свет, часа в четыре, поднимался вместе с ним и я спозаранку и варил кофе в специально привезенном мною из Тулы двухэтажном кофейнике. Напившись кофе, А. П. усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая в парк. Писал он свою повесть "Дуэль" и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой "каторжную работу".[61]

К положениям "творчески домысленного" характера можно также отнести и такие, которые воспроизведены автором биографии на основании собственного опыта или знания лиц и обстановки воссоздаваемых из жизни Чехова эпизодов. Например, на основании своего знакомства с Ф. А. Коршем, Борис Зайцев описывает встречу и возможный разговор с ним молодого Антона Павловича. Б. Зайцев, правда,

[60] Борис Зайцев. Чехов, стр. 114-115.

[61] М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах. В кн.: Чехов в воспоминаниях современников, стр. 60-62.

подчеркивает реконструкцию путем употребления модальных слов и выражений.

Тою же осенью, в фойе театра Корша, он встретил самого хозяина, Федора Адамовича. Помня Корша, представляешь себе встречу эту довольно ясно.

Похлопывание по плечу "голуба моя", "мама", тон развязной дружественности – хотя Чехова он мало знал, слышал только, что талантливый молодой писатель, может быть, читал что-нибудь в "Осколках", или "В сумерках". Но театру нужна пьеса, о молодом авторе говорят, значит не надо упускать случая.

– Дуся, ну что вам рассказики все писать, вы бы нам пьесу...

И, возможно, уводит его, обнимая, как всегда делал, к себе в кабинет, тут же при театре, где письменный стол и софа, на которой в свободную минуту любил Корш примащиваться. Здесь разговор более серьезный: нужна пьеса, к такому то сроку, условия такие-то.[62]

г. Положения – личные воспоминания Бориса Зайцева.

В отличие от биографий Тургенева и Жуковского, в ткань жизнеописания Чехова вкраплены характеристики и воспроизведения прямой речи по собственным воспоминаниям автора. Вот как описывает Б. Зайцев самого Чехова и кабинет его ялтинского дома:

Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича – и самого хозяина.

Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах. Темные обои, на столике разные мелочи, безделушки. Большой камин, над ним Левитан написал пейзаж – русский вечер, стога на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках, на столе моя рукопись, на нее капнуло стеарином со свечи – и сам Антон Павлович Чехов в пенснэ, на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий: вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичок.[63]

В книге о Чехове еще меньше пейзажных зарисовок, чем в "Жуковском". Приведу пример пейзажа, реконструированного Борисом Зайцевым по письму А. П. Чехова к сестре от 11 мая 1887 года.

---

[62] Борис Зайцев. Чехов, стр. 62 (разрядка моя, – А. Ш.).

[63] Там же, стр. 195-196 (разрядка моя, – А. Ш.).

Б. Зайцев – "Чехов":

Монастырь Святые Горы, видимо, редкостной красоты, стоял на берегу Донца, над ним белая известковая скала, наверху садики, дубы, вековые сосны, некоторые просто висят в воздухе, держатся только корнями. Кукуют там кукушки, заливаются соловьи.[64]

Из письма А. П. Чехова:

В Святые горы приехал я в 12 часов. Место необыкновенно красивое и оригинальное: монастырь на берегу Донца, у подножия громадной белой скалы, на которой теснясь и нависая друг над другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны. Кажется, что деревьям тесно на скале и что какая-то сила выпирает их вверх и вверх... Сосны буквально висят в воздухе и того гляди свалятся. Кукушки и соловьи не умолкают ни днем ни ночью... [65]

Есть в "Чехове" несколько (всего 3-4) и от-авторских пейзажей. Вот один из них:

Алексин небольшой городок Тульской губернии, на Оке, в сторону Калуги, в чудесной пересеченной местности – жило там тогда семьсот душ, но души эти любовались со своего взгорья и Окой, и большаком с березами за ней, полями и лесочками, всей свежестью и миловидностью средне-русского пейзажа.[66]

Как в "Жизни Тургенева" и в "Жуковском", в книге о Чехове очень немного воспроизведений прямой речи и диалогов. По характеру реконструкции они распадаются на две группы:

а. Диалогическая реплика – раскавыченный текст документальных материалов.

Б. Зайцев – "Чехов":

Евгения Яковлевна (мать А.П. Чехова, – А.Ш.), в капоте, входит вечером в комнату этой "Тани", уже ложащейся спать. Приносит и ставит ей на столик у кровати кусок курника.

– А вдруг детка ночью проголодается?[67]

Из воспоминаний Т. Л. Щепкиной-Куперник:

Помню ее уютную фигуру в капоте и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием:

– А вдруг детка проголодается?[68]

---

64 Там же, стр. 78.

65 А.П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, стр. 140.

66 Борис Зайцев. Чехов, стр. 113.

67 Там же, стр. 161.

68 Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове. В кн.: Чехов в воспоминаниях современников, стр. 271.

Или (в нижеприведенном примере часть текста оригинального документа очень кратко пересказывается Борисом Зайцевым):

Б. Зайцев – "Чехов":	Из воспоминаний Н. Д. Телешова:
В конце мая Телешов видел его в Москве, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся: Антон Павлович стал совсем маленьким, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: "Еду помирать". И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на "Средах". – Больше уж никого не увижу.[69]	Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. . . . . сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом – до того был худ, изнурен Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться . . . . – Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать. Он сказал другое, не это слово, более жестокое, чем "умирать", которое не хотелось бы сейчас повторить. – Умирать еду, – настоятельно говорил он. – Поклонитесь от меня товарищам вашим по "Среде". Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше уже не встретимся.[70]

б. Диалогическая речь – создание автора.

Во время путешествия по Италии в 1891 году А.П. Чехов и А. С. Суворин встретили в Венеции тоже путешествовавших супругов Мережковских. Помня Мережковских, Борис Зайцев приводит возможный с ними разговор Чехова. Реконструкция, однако, подчеркнута:

> Ясно видишь, как она (З. Н. Мережковская, – А.Ш.), ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочьими глазами, покуривая папироску, вяло тянет:
> – Да, здесь все дешево... Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим... Дмитрий, сколько мы платим?

[69] Борис Зайцев. Чехов, стр. 240.

[70] Н. Д. Телешов. А. П. Чехов. В кн.: Чехов в воспоминаниях современников, стр. 445.

– Зи-и-на, восемнадцать франков!

– Слышите, Чехов... Ну, вот вам! Восемнадцать франков. Разве это дорого?

Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом:

– Восемнадцать франков в неделю – совсем недорого.[71]

Внутренних монологов в книге о Чехове нет.

Как в "Жизни Тургенева" и в "Жуковском", от-авторские гипотезы в книге о Чехове высказываются им в форме вопросов. Чаще всего тут же приводится и ответ:

Ждал он (А. П. Чехов, – А. Ш.) в Мелихове жизни старосветских помещиков? Желаний, не перелетающих за частокол? Благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей? На него не похоже. Да и времена не те.[72]

Вопрос, по своему характеру, может быть риторическим:

В общем же за границей ему (А.П. Чехову, – А.Ш.) невесело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по три недели бывает кровохарканье?[73]

Как в книгах о Тургеневе и Жуковском, в "Чехове" Борис Зайцев также широко пользуется модальными словами и выражениями: вероятно, может быть, быть может, может, возможно, кажется, очевидно, будто-бы, как-будто, вряд ли, пожалуй, можно сказать, надо думать, можно считать, можно себе представить, насколько известно и др.

Да весьма возможно, что и сам (Потапенко, – А. Ш.) влюбился: он был влюбчив, а Лика привлекательна.

. . . .

А сам автор (рассказа "Студент", – А.Ш.) не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки.[74]

Модальных выражений в книге о Чехове много больше, чем в "Жуковском" и почти столько же, сколько в "Жизни

---

71 Борис Зайцев. Чехов, стр. 111 (разрядка моя, – А. Ш.).

72 Там же, стр. 128.

73 Там же, стр. 171.

74 Там же, стр. 142, 143 (разрядка моя, – А. Ш.).

Тургенева", причем во многих случаях выражение модальности суждения нарочито подчеркнуто: не помню, сколь могу судить, не знаю, уверен, думаю, считаю и др.

> Я не знаю подробностей его (Чехова, – А. Ш.) отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумыванье игр, вообще то, что интересно детям.[75]

> Сколь могу судить, дом (Чехова в Ялте, – А. Ш.) спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный, и как Чеховым полагается, скромно-благообразный.[76]

В книге о Чехове много заключенных в скобки от-авторских вставочных\ слов, \словосочетаний и предложений. Они распадаются на те же категории, что и аналогичные вводные высказывания в "Жизни Тургенева" и в "Жуковском", т.е.: а) сообщения, уточняющие, поясняющие, дополняющие или акцентирующие предыдущие высказывания; б) сообщения, указывающие на авторское отношение к приводимым биографическим фактам; в) сообщения – от-авторское продление мысли или додумывание; г) вставки, подчеркивающие оттенки эмоционально-экспрессивного характера.

Наряду с творчески реконструированными положениями (бытовыми картинами, пейзажными и портретными зарисовками, редкими диалогами), некоторые события в жизни А. П. Чехова и отдельные биографические периоды представлены Б. Зайцевым, главным образом, в цитатах из переписки писателя; например: жизнь в имении Линтваревых на берегу Псла, роман с Ликой Мизиновой, последние годы жизни А. П. Чехова – любовь, женитьба и жизнь в разлуке с женой. Эти документального характера сведения не всегда сливаются с основной тканью повествования, что местами создает впечатление стилевой неровности и некоторого избытка фактического материала, оставшегося вне творческой обработки.

В сравнении с языком "Жизни Тургенева" и "Жуковского", язык биографии Чехова отличается бóльшей простотой и сдержанностью. В нем почти нет сложных эпитетов,

---

[75] Там же, стр. 46 (разрядка моя, – А. Ш.).

[76] Там же, стр. 196 (разрядка моя, – А. Ш.).

инверсий, черт импрессионистической экспрессии. Встречаются, однако, церковнославянизмы, причем употребление их не всегда оправдано темой и общим тоном повествования. В некоторых случаях автор прибегает к ним не для создания соответствующего возвышенно-торжественного звучания контекста (как он это делал в "Жуковском"), но, повидимому, лишь в силу привычных фразеологических ассоциаций. Например:

Время было такое, что с "к а к о в е р у е ш и" приставали упорно, и по большей части касалось это политики, "либерализма", "консерватизма" – скучнейших для поэта дел.[77]

Или:

Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А "г д е с о к р о в и щ е в а ш е, т а м и с е р д ц е в а ш е б у д е т".[78]

В двух предшествующих биографиях жизнь Тургенева и Жуковского была показана автором на фоне исторического времени; жизнь же Чехова проходит по страницам зайцевской книги о нем как бы вне эпохи. Правда, "серое" время, в которое жил Чехов, не было отмечено никакими выдающимися политическими событиями (война с Японией началась в год смерти писателя, в январе), но народнические и марксистские течения уже предвосхищали надвигавшуюся революцию.[79] Не затронуты в "Чехове" также ни религиозно-философское учение Л. Н. Толстого, которому писатель в свое время отдал дань,[80] ни новые течения в литературе и искусстве конца XIX – начала XX веков, например, символизм.

---

[77] Там же, стр. 82 (разрядка моя, – А. Ш.).

[78] Там же, стр. 53 (разрядка моя, – А. Ш.).

[79] Между прочим, в письме к жене от 3 марта 1904 года – всего за три месяца до смерти – А.П. Чехов писал: "Наши побьют японцев. Дядя Саша вернется полковником, а дядя Карл с новым орденом" (А.П. Чехов. Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 12, стр. 532). Несколько позднее, 12 марта, ей же писал, что, как только поправится, будет просить у нее разрешения ехать на войну врачом.

[80] В письме к А.С. Суворину от 27 марта 1894 года А.П. Чехов писал: "Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7. . ." (Там же, стр. 46).

Борис Зайцев отмечает роль Чехова в развитии театра, но помимо театра, писателю был очень близок и мир музыки. Музыка постоянно звучала в доме Чеховых, "музыкальное начало одухотворяет произведения писателя, является важным элементом чеховского стиля".[81] Музыкальные сцены и моменты являются компонентом многих произведений Чехова: в "Иванове" Шабельский и Анна Петровна разучивают дуэт на рояле и виолончели; в "Рассказе неизвестного человека" Грузин играет "Лебединую песню" Сен-Санса, в "Черном монахе" исполняется серенада Брага и т.д. Антон Павлович был хорошо знаком с композитором Б.М. Азанчевским, с известным тогда пианистом и дирижером П.А. Шостаковским, дружен с П. И. Чайковским, которому посвятил сборник своих рассказов "Хмурые люди", 1890 г.[82] Эта черта образа и творчества писателя осталась не освещенной в биографии "Чехов".

Может быть, ввиду сдержанности, с которой подошел к своей теме Борис Зайцев, образ Чехова не "оживлен" им в той мере, в какой сделано это в жизнеописаниях Тургенева и Жуковского. В книге о Чехове Борис Зайцев не столько творчески воссоздает исторический фон и живой образ писателя, сколько с любовью рассказывает о его жизни, одновременно делясь с читателем и личными воспоминаниями о нем. Поэтому, несмотря на некоторую неполноту освещения эпохи и самого образа писателя, убедительно изображены Б. Зайцевым основные чеховские черты: черты Чехова-человека со сложным внутренним миром, мужественно переносившего недуг и мужественно встретившего преждевременную смерть, и Чехова-художника, приоткрывшего в своем творчестве душу, тайно и бессознательно тоскующую по Богу.



---

81 Е. Балабанович. Из жизни А.П. Чехова. Дом в Кудрине. Изд. "Московский рабочий", М., 1967, стр. 206.

82 П.И. Чайковский бывал у Чеховых в Москве на Кудринской-Садовой. Он собирался писать оперу "Бэла" (по "Герою нашего времени" Лермонтова), для которой А.П. Чехов согласился написать либретто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> Biography is not a cold or dead thing; it is a living integration of the emotions of two men, separated physically in space and in time but united by common joys and sufferings. Sentiments of affection, repulsion, or pity may be uttered legitimately by the biographer since this type of creative work has now become a means of personal expression.
>
> Georges Lemaitre

Анализ "Жизни Тургенева", "Жуковского" и "Чехова", сделанный в III - V главах настоящего исследования, позволяет сделать вывод, что Борис Зайцев внес ценный вклад в жанр творческой биографии в русской литературе: его беллетризованные биографии являются редким по гармоничности соединением познавательной и эстетической категорий.

Как уже было сказано в предшествующих главах настоящей работы, Борис Зайцев обращался к биографиям только внутренно созвучных ему писателей. При этом разбор их жизнеописаний позволяет заключить, что по степени этой внутренней автору родственности на первом месте стоит Жуковский, затем – Тургенев и наконец – Чехов.

Внутренней близостью автора к названным писателям обусловливается и его субъективно-личное к ним отношение, т. е. его творческое ви́дение героев своих произведений. Как настоящий художник, Борис Зайцев стремился уловить лейтмотив жизни каждого из этих писателей и закреплял его в слове: в "Жизни Тургенева" – это поклонение "вечно женственному", в "Жуковском" – следование зову "Наипаче ищите Царствия Божия" и "Чехове" – бессознательная христианская настроенность души писателя.

Доминантой каждого из этих жизнеописаний является документально обоснованное раскрытие душевного мира героев, творческое воссоздание их индивидуальной неповторимости. При этом обозначается своего рода закономерность: чем выше степень внутренней родственности автора избранному герою, тем ярче образное воссоздание этого героя и художественность решения творческой задачи. Наибольшую полноту в творческом осуществлении авторского замысла мы поэтому находим в жизнеописании Жуковского, затем в "Жизни Тургенева" и в значительно меньшей мере – в "Чехове".

Формальный анализ трех книг показал также, что цельности и убедительности воссоздаваемых Борисом Зайцевым образов Тургенева, Жуковского и Чехова в большой мере способствуют, во-первых, основная черта его поэтики – импрессионизм, в разной степени отразившаяся во всех трех книгах; во-вторых, его метод подчеркнутой реконструкции. Благодаря именно этим чертам поэтики Бориса Зайцева-импрессиониста, равно как и его сосредоточению на раскрытии душевного мира героев, его книги занимают единственное в своем роде место в жанре творческой биографии.

В заключение этой работы хочется добавить, что в этих книгах Бориса Зайцева о великих русских писателях раскрывается также и привлекательный образ самого автора – верующего, благожелательного и гуманного человека, большого мастера слова, "поэта в прозе", внесшего неповторимое "свое" в сравнительно новый и экспериментальный в русской литературе жанр беллетризованной биографии.



БИБЛИОГРАФИЯ

1. Сочинения Б. К. Зайцева

Собрание сочинений в шести томах. Берлин-Петербург-Москва, изд-во З. И. Гржебина, 1922.

Алексей Божий Человек. – Современные Записки, XXVI, Париж, 1925.

Афон. Париж, YMCA-PRESS, 1928.

В пути. Париж, "Возрождение", 1951.

Гофмейстер. – Русские Записки, XVII, Париж, май 1939.

Далекое. Washington, D.C., Inter-Language Associates, 1965.

Данте. Судьба. – Возрождение, №166, Париж, 1965.

Дальний край. – Литературно-художественный Альманах изд-ва "Шиповник", кн. 20-ая и 21-ая, С-Петербург, 1913.

Дни. – Возрождение, тетрадь десятая, Париж, июль-август 1950.

Дни (Записи). – Опыты, кн. первая, Нью Йорк, 1953.

Дом в Пасси. – Современные Записки, LI-LIV, Париж, 1933.

Древо жизни. Нью Йорк, изд. им. Чехова, 1953.

Жизнь Тургенева. – Современные Записки, XLIV-XLVII, Париж, 1930-1931.

Жизнь Тургенева, изд. второе. Париж, YMCA-PRESS, 1949.

Жуковский. Париж, YMCA-PRESS, 1951.

Золотой узор. Прага, "Пламя", 1926.

Италия. Сиена. – Золотое руно, №3-4, 1908.

Италия. Фьезоле. – Золотое руно, №7-9, 1908.

Москва. Мюнхен, ЦОПЭ, 1960.

О себе. – Возрождение, тетрадь 70-ая, Париж, октябрь 1957.

Паустовский. – Русская мысль, Париж, 25 июля 1968 г.

Преподобный Сергий Радонежский. Париж, YMCA-PRESS, 1925.

Путешествие Глеба. Берлин, Петрополис, 1937.

Путники. Париж, "Русская земля", 1921.

Рафаэль. Дон Жуан. Карл V. Души чистилища. Берлин, изд-во "Нева", 1924.

Река времен. Нью Йорк, "Русская книга", 1968.

Старые молодым. – В кн.: Старые молодым. Мюнхен, ЦОПЭ, 1960.

Тихие зори. Мюнхен, Товарищество Зарубежных Писателей, 1961.

Тишина. Париж, "Возрождение", 1948.

Тургенев. – Новое русское слово, НьюЙорк, 5 января 1969.

Тютчев. Жизнь и судьба. (К 75-летию кончины) – Возрождение №1, Париж, январь 1949.

Усадьба Ланиных. – Литературно-художественный Альманах изд-ва "Шиповник", кн. 15, С.-Петербург, 1911.

Царь Давид. – Новый Журнал, XI, Нью Йорк, 1945.

Чехов. Литературная биография. Нью Йорк, изд-во им. Чехова, 1954.

Юность. Париж, YMCA-PRESS, 1950.

2. Произведения биографического жанра в русской и иностранной литературах – творческие биографии, биографии научно-популярного типа и биографические очерки, – использованные для настоящей работы.

Авенариус В. П. Отроческие годы Пушкина. С.-Петербург, изд. кн. магазина П. В. Луковникова, 1899.

Андреев Кирилл. Три жизни Жюля Верна. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1960.

Архангельский А.С. В. А. Жуковский. Биографический очерк. – В кн.: Полное собрание сочинений В.А. Жуковского в 12-ти томах, т. 1-ый. С.-Петербург, изд. А.Ф. Маркса, 1902.

Балабанович Е. Из жизни А.П. Чехова. Дом в Кудрине, 3-е дополн. изд. Москва, "Московский рабочий", 1967.

Богословский Н. Тургенев. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1964.

Его же. Николай Гаврилович Чернышевский. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1957.

Булгаков Михаил. Жизнь господина де Мольера. – В кн.: Михаил Булгаков. Избранная проза. Москва, "Художественная литература", 1966.

Вересаев В. Жизнь Пушкина. Москва, "Художественная литература", 1936.

Его же. Пушкин в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников. Москва-Ленинград, "Academia", 1932.

Его же. Спутники Пушкина, вып. первый. Москва, Кооперативное изд. "Мир", 1934.

Его же. Гоголь в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников. Москва-Ленинград. "Academia", 1933.

Виноградов Анатолий. Избранные произведения в трех томах. Москва, ГИХЛ, 1960.

Гревс И. М. История одной любви. И. С. Тургенев и Полина Виардо, 2-ое изд., исправленное и дополненное. Москва, книгоиздательство "Современные проблемы" Н. А. Столляр, 1928.

Гроссман Леонид. Бархатный диктатор. Москва, Московское товарищество писателей, 1933.

Его же. Достоевский. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1962.

Его же. Записки д'Аршиака. Петербургская хроника 1836 года. Харьков, "Пролетарий", 1930.

Его же. Н. С. Лесков. Жизнь – Творчество – Поэтика. Москва, ГИХЛ, 1945.

Его же. Преступление Сухово-Кобылина, изд. второе, дополненное. Ленинград, "Прибой", 1928.

Его же. Пушкин. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1958.

Его же. Роман Нины Заречной. – Прометей, историко-биографический альманах серии "Жизнь замечательных людей", т. 2-ой. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1967.

Его же. Рулетенбург. Повесть о Достоевском. Москва-Ленинград, ГИХЛ, 1932.

Гутьяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, типография К. Маттисена, 1907.

Его же. Иван Сергеевич Тургенев и семейство Виардо-Гарсия.– Вестник Европы, сорок третий год, т. IV, С.-Петербург, 1908.

Дерман А. Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк. Москва, "Художественная литература", 1939.

Его же. Творческий портрет Чехова. Москва, "Мир", 1929.

Ермилов В. А.П. Чехов. Москва, "Советский писатель", 1959.

Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783-1852. С.-Петербург, "Вестник Европы", тип. М. М. Стасюлевича, 1883.

Ludwig, Emil. *Genius and Character*, tr. by Kenneth Burke. New York: Harcourt, Brace and Co., 1927.

Ludwig Emil. *Goethe. The History of a Man 1749-1832*, tr. by Ethel Colburn Mayne. New York-London: G.P. Putnam's Sons, 1928.

Magarshak, David. *Chekhov.* New York: Grove Press, 1952.

Манн Томас. Лотта в Веймаре, перевод с немецкого Н. Ман. Москва, ГИХЛ, 1957.

Моруа Андре. Жорж Санд, перевод с французского Е.С. Булгаковой. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1968.

Его же. Три Дюма, перевод с французского Л. Беспаловой и С. Шлапоберской. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия, 1962.

Maurois, André. *Ariel. The Life of Shelley*, tr. from French by Ella D'Arcy. New York: D. Appleton and Company, MCMXXIV.

Maurois, André. *Byron*, tr. from French by Hamish Miles. London: Jonathan Cape, 1930.

Maurois, André. *Prophets and Poets*, tr. from French by Hamish Miles. New York-London: Harper & Brothers, 1935.

Maurois, André. *Tourguéniev*. Paris: Bernard Grasset, 1931.

Новиков Иван. Пушкин в изгнании. Москва, "Советский писатель", 1962.

Петров С. И.С. Тургенев. Москва, Гослитиздат, 1961.

Роллан Ромен. Жан-Жак Руссо. – В кн.: Ромен Роллан. Собрание сочинений, т. 14. Москва, ГИХЛ, 1958.

Сакулин П.Н. М.А. Протасова-Мойер по ее письмам. – В кн.: Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, 1907, т. XII, кн. 1-2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1907.

Simmons, Ernest J. *Chekhov. A Biography*. Toronto: Little Brown and Company, 1962.

Соловьев Н.В. История одной жизни. А. А. Воейкова – "Светлана". Петроград, 1915.

Strachey, Lytton. *Eminent Victorians. Cardinal Manning. Florence Nightingale. Dr. Arnold. General Gordon*. New York: Harcourt, Brace and Company (no year of publication).

Strachey, Lytton. *Queen Victoria*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1921.

Troyat, Henri. *Tolstoy*, tr. from the French by Nancy Amphoux. New York: Doubleday and Company, Inc., 1967.

Тынянов Ю. Кюхля. Москва, "Советский писатель", 1947.

Его же. Смерть Вазир-Мухтара. Ленинград, "Прибой", 1929.

Его же. Сочинения в трех томах. Москва-Ленинград, ГИХЛ, 1959.

Фейхтвангер Лион. Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо, перевод И. Горкиной и И. Горкина. Москва, Издательство Иностранной Литературы, 1956.

Форш О. Сочинения в четырех томах. Москва, ГИХЛ, 1956.

Ходасевич В. Державин. – Современные записки, XXXIX – XLIII, Париж, 1929-1930.

Цвейг Стефан. Избранные произведения в двух томах. Москва, ГИХЛ, 1956.

Его же. Мария Стюарт. Москва, Издательство Иностранной Литературы, 1959.

Шкловский В. Краткая, но достоверная повесть о дворянине Болотове. Ленинград, Изд. писателей в Ленинграде, 1930.

Его же. Лев Толстой. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1963.

Шторм Г. Труды и дни Михаила Ломоносова. Обозрение в 9 главах и 6 иллюстрациях. Москва, "Художественная литература", 1934.

Yarmolinsky, Avrahm. *Turgenev. The Man — His Art — and His Age.* New York-London: Century Co., 1926.

3. Произведения В. А. Жуковского, И. С. Тургенева и А. П. Чехова.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений под ред. П. Н. Краснова. С.-Петербург-Москва, Т-во М.О. Вольф, 1883.

Его же. Стихотворения в двух томах. Ленинград, "Советский писатель", 1939-1940.

Тургенев И. С. Собрание сочинений в десяти томах, Москва, ГИХЛ, 1961-1962.

Чехов А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах, Москва, ГИХЛ, 1960-1963.

4. Переписка В.А. Жуковского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и воспоминания их современников.

Альтшуллер И. О Чехове. — Современные Записки, XLI, Париж, 1930.

Его же. Еще о Чехове. — Новый Журнал, IV, Нью Йорк, 1943.

Базаров, свящ. И. Последние дни жизни Жуковского. — Литературные прибавления к Журналу Министерства Народного Просвещения, №1. Журнал Министерства Народного Просвещения, Апрель 1852. Часть LXXIV, С.-Петербург, типография Императорской Академии наук, 1852.

Бунин И. А. О Чехове. Нью Йорк, изд. им. Чехова, 1955.

Грузинский А. Е., ред. Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер, Е. А. Протасовой. Москва, печатня А. И. Снегиревой, 1904.

Житова В. Н. Воспоминания о семье Тургенева. — Вестник Европы, 19-ый год, т. VI, кн. 11-12, С.-Петербург, 1884.

Жуковский В. А. Письмо В. А. Жуковского о браке его с девицею Фон-Рейтерн, писанное в Дюссельдорфе, 10 Августа по 5 Сентября 1840 года, и посланное в Муратово к Е. Аф. Протасовой и ко всем родным. — Русская беседа, III, год 4-ый, кн. 15-ая. Москва, 1859.

Зонтаг А. П. Воспоминание о первых годах детства Василия Андреевича Жуковского. – Русская мысль, год 4-ый, кн. 2-ая, Москва, 1883.

Кони А. Ф. Отрывки из воспоминаний. – Вестник Европы, 43-ий год, т. III, С.-Петербург, 1908.

Огарева-Тучкова Н. А. Иван Сергеевич Тургенев. Воспоминания Н. А. Огаревой-Тучковой, 1840-1870 гг. – Русская старина, т. 61, С.-Петербург, 1889.

Телешов Н. Все проходит. Рассказы о встречах и о былом. Москва, изд. "Никитинские субботники" (год издания не указан).

Тургенев, И. С. Письма в 13 томах, т. 10. Москва-Ленинград, изд. "Наука", 1965.

Его же. Письма в 13 томах, тт. 1-ый и 3-ий. Москва-Ленинград, изд. Академии наук СССР, 1961.

Фет А. А. Мои воспоминания. В кн.: Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников в 2-х томах, т. 1-ый. Москва, ГИХЛ, 1960.

Чехов в воспоминаниях современников. Москва, ГИХЛ, 1952.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем, серия вторая, т. 13 (письма). Москва, ГИХЛ, 1948.

Чехова М. П. Из далекого прошлого. Москва, ГИХЛ, 1960.

Юрий Тынянов. Писатель и ученый. – Воспоминания, размышления, встречи. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1966.

5. Критические материалы

а) О творчестве Б. К. Зайцева

Адамович Г. Борис Зайцев. – В кн.: Георгий Адамович. Одиночество и свобода. Нью Йорк, изд. им. Чехова, 1955.

Айхенвальд Ю. Борис Зайцев. Наброски. – В кн.: Силуэты русских писателей, т. III. Берлин, книгоиздательство "Слово", 1923.

Александрова В. Рецензия на "Юность" Б. К. Зайцева. – Новый Журнал, XXIV, Нью Йорк, 1950.

Андреев Ник. Рецензия на биографию "Жуковский". – Грани, №14, Франкфурт на Майне, 1968.

Бицилли П. Рецензия на "Путешествие Глеба". – Русские Записки, V, Париж, май 1938.

Гиппиус З. Рецензия на книгу "Преподобный Сергий Радонежский. – Современные Записки, XXV, Париж, 1925.

Долинин А. Б. Зайцев и А. Ремизов. – Бюллетени Литературы и жизни, 1-7, Москва, октябрь 1912.

Ершов П. Рецензия на "Древо жизни". – Новый Журнал, XXXIV, Нью Йорк, 1953.

Его же. Рецензия на биографию "Жуковский". – Русская мысль, Париж, 25 апреля 1952.

Его же. Рецензия на биографию "Чехов". – Новый Журнал, XXXIX, Нью Йорк, 1954.

Завалишин В. Борис Зайцев. – Новый Журнал, LXIII, Нью Йорк, 1961.

Коробка Н. Б. Зайцев. Критический этюд. – Вестник Европы, кн. девятая, Петроград, сентябрь 1914.

Коряков М. Листки из блокнота. Позывной. – Новое русское слово, Нью Йорк, 31 марта 1968.

Лосский Н. Рецензия на книгу "Преподобный Сергий Радонежский". – Путь, №2, Париж, январь 1926.

Мейер Г. Борис Зайцев о Чехове. – В кн.: Георгий Мейер. Сборник литературных статей. Франкфурт на Майне, "Посев", 1968.

Первушин Н. В. К 85-летию Б. К. Зайцева. –Russian Language Journal, Vol. XX, NN 75-76, San Francisco, Calif., 1966.

Плетнев Р. Рецензия на биографию "Чехов". – Грани, № 23, Франкфурт на Майне, 1954.

Полонский-Гусин В. Борис Зайцев (Критический этюд). – Всеобщий Ежемесячник, №1, С.-Петербург, январь 1911.

Ржевский Л. Д. Тема о непреходящем. – Мосты, №7, Мюнхен, ЦОПЭ, 1961.

Степун Ф. Борису Константиновичу Зайцеву – к его восьмидесятилетию. – В кн.: Федор Степун. Встречи. Мюнхен, Товарищество Зарубежных Писателей, 1962.

Струве Г. Зайцев. – В кн.: Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Нью Йорк, изд. им. Чехова, 1956.

Таубер Е. В пути находящиеся. – Грани, №33. Франкфурт на Майне, 1957.

Топорков А. О новом реализме (Борис Зайцев). –Золотое руно, X, Москва, 1907.

Тхоржевский И. Борис Зайцев. – В кн.: Иван Тхоржевский. Русская литература, 2-ое изд., исправленное и дополненное. Париж, "Возрождение", 1950.

Ульянов Н. Б. К. Зайцев. – В кн.: Н. Ульянов. Диптих. Нью Йорк, издание автора, 1967.

Чуковский К. Борис Зайцев. – В кн.: К. Чуковский. Лица и маски. С.-Петербург, "Шиповник", 1914.

Его же. Борис Зайцев. – В кн.: К. Чуковский. От Чехова до наших дней, 3-е изд., исправленное и дополненное. С.-Петербург-Москва, Т-во М.О. Вольф (год издания не указан).

б) О жанре творческой биографии

Андреев К. Три Дюма и Андре Моруа – послесловие к книге: Андре Моруа. Три Дюма, перевод с французского Л. Беспаловой и С. Шлапоберской. Москва, изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1962.

Андреев Ю. А. Русский советский исторический роман. Москва-Ленинград, изд. Академии Наук СССР, 1962.

Академия Наук СССР. История русского советского романа, кн. 1-2. Москва-Ленинград, "Наука", 1965.

Altick, Richard D. *Lives and Letters. A History of Literary Biography in England and America.* New York: Alfred A. Knopf, 1965.

Бабаян З. Анатолий Виноградов и его книги. – В кн.: Анатолий Виноградов. Избранные произведения в 3-х тт., т. 1-ый. Москва, ГИХЛ, 1960.

Белинков А. Юрий Тынянов. Москва, "Советский писатель", 1960.

Bowen, Catherine Drinker. *The Writing of Biography.* Boston: The Writer, Inc. Publishers, 1950-1951.

Вильмонт Н. Н. Гете в романе Томаса Манна. – В кн.: Томас Манн. Лотта в Веймаре, перевод Н. Ман. Москва, ГИХЛ, 1957.

Clifford, James L., ed. *Biography as an Art.* Selected Criticism 1560-1960. New York: Oxford University Press, 1962.

Edel, Leon. Literary Biography. New York: Doubleday & Co., Inc., 1959.

Kendall, Paul Murray. *The Art of Biography.* New York: W. W. Norton & Co., Inc. 1965.

Lemaitre, Georges. André Maurois. Stanford, California: Stanford University Press, 1939.

Левидов М. Автор и его герой. – Литературная газета, Москва, 20 июня 1940.

Ленобль Г. История и литература. Москва, "Советский писатель", 1960.

Лундберг, Е. Правда или вымысел? – Литературная газета, Москва, 10 июля 1940.

Манн, Ю. Жанр больших возможностей. – Вопросы литературы, №9, Москва, сентябрь 1959.

Моруа Андре. Комментарии к собственной биографии. – За рубежом, №46 (387), Москва, ноябрь 1967.

Maurois, André. *Aspects of Biography*, tr. from French by S. C. Roberts. Cambridge: University Press, 1929.

Мстиславский С. За право вымысла. – Литературная газета, Москва, 5 июня 1940.

Новиков И. Как я работал над романом "Пушкин в Михайловском". – Литературная газета, Москва, 5 февраля 1937.

Осипов К. Жанр художественной биографии. – Литературная газета, Москва, 26 июня 1939.

Петров С.М. Советский исторический роман. Москва. "Советский писатель", 1958.

Реизов В. Домысел и вымысел. – Литературная газета, Москва, 5 июня 1939.

Сергиевский И. О биографическом романе и романе Юрия Тынянова. – Литературный критик, №4, Москва, апрель 1937.

Тхоржевский И. Исторический роман и роман-биография. – В кн.: Иван Тхоржевский. Русская литература, изд. 2-ое, исправленное и дополненное. Париж, "Возрождение", 1950.

Фейхтвангер Лион. О смысле и бессмыслице исторического романа. – Литературный критик, №9, Москва, сентябрь 1935.

Шкловский В. Дневник. Москва, "Советский писатель", 1939.

Его же. Жизнь замечательных людей. – Знамя, кн. третья, Москва, март 1959.

Его же. Китовые мели и фарватеры. – Новый ЛЕФ, №9, Москва, 1928.

Эйхенбаум Б. Творчество Ю. Тынянова. – Звезда, №1, Ленинград, 1941.

в) Критические материалы общего характера

Айхенвальд Ю. Жорж Роденбах (набросок). – В кн.: Юлий Айхенвальд. Этюды о западных писателях. Москва, "Научное слово", 1910.

Веселовская М. Жорж Роденбах. Критико-биографические заметки. – Русская мысль, IV, Москва, апрель 1911.

Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения". С.-Петербург, типография Императорской Академии наук, 1904.

Вольпе Ц. Вступительная статья. – В кн.: В. А. Жуковский. Стихотворения в двух томах, т. 1-ый. Ленинград, "Советский писатель", 1939-1940.

Гроссман Л. Последняя поэма Тургенева. – В сб.: Венок Тургеневу 1818-1918, ред. В.В. Гиппиус. Одесса, изд. А.А. Ивасенко, 1919.

Загарин П. В. А. Жуковский и его произведения, изд. второе, дополненное. Москва, изд. Льва Поливанова, 1883.

Курдюмов М. Сердце смятенное. О творчестве А.П. Чехова. 1904-1934. Париж, YMCA-PRESS, 1934.

Лакшин В. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. – В кн.: Михаил Булгаков. Избранная проза. Москва, "Художественная литература", 1966.

Меве Е.Б. Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова. Киев, Государственное Медицинское изд-во УССР, 1961.

Сакулин П. Н. Литературные течения в Александровскую эпоху. В кн.: История русской литературы XIX века под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 1-ый. Москва, "Мир", 1908.

Тихонравов Н. С. Сочинения в трех томах, т. III, чч. 1-ая и 2-ая. Москва, изд. М. и С. Сабашниковых, 1898.

Тхоржевский И. Художник-маловер: Тургенев. – В кн.: Иван Тхоржевский. Русская литература, изд. 2-ое, исправленное и дополненное. Париж, "Возрождение", 1950.

Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов). – Мосты, №5, Мюнхен, ЦОПЭ, 1960.

Эренбург И. Перечитывая Чехова. – В кн.: Илья Эренбург. Собрание сочинений в девяти томах, т. 6. Москва, "Художественная литература", 1965.

6. Источники и пособия общего характера

Архангельский А. С. В. А. Жуковский. Биографический очерк. – В кн.: Полное собрание сочинений В.А. Жуковского в 12-ти томах, т. 1-ый. С.-Петербург, изд. А.Ф. Маркса, 1902.

Бердяев Н. Самопознание (Опыт философской автобиографии). Париж, YMCA-PRESS, 1949.

Блок А. Люблю высокие соборы. – В кн.: Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. 1-ый. Москва-Ленинград, ГИХЛ, 1960.

Борисов Л. Родители, наставники, поэты. – Звезда, №12, Москва-Ленинград, декабрь 1966.

Гоголь Н.В. Портрет, – В кн.: Н. В. Гоголь. Сочинения. New York, N.Y., International University Press.

Дашкова Д.Д. Стихи и сказания про Алексия Божия человека. – Беседы в Обществе Любителей Российской Словесности, выпуск второй, Москва, 1868.

Паустовский К. Начало неведомого века. Москва, "Советский писатель", 1958.

ПРОЛОГЪ. Март-Август. С.-Петербург, Синодальная типография, 1896.

Пушкин А.С. Сочинения. New York, N.Y., International University Press.

Его же. Полное собрание сочинений в трех томах, тт. II и III, Петроград, "Копейка", 1914.

Русские писатели о литературном труде – сборник в четырех томах, общ. редакция Б. Мейлаха, т. 2-ой. Ленинград, "Советский писатель", 1955.

Солженицын А. Матренин двор. – Новый мир, Москва, январь 1963.

Тютчев Ф.И. Памяти В.А. Жуковского. – В кн.: Ф.И. Тютчев. Стихотворения. Письма. Москва, ГИХЛ, 1957.



СОДЕРЖАНИЕ